

КНИГА III

Хотя вся первая пора жизни вплоть до юности есть пора слабости, но есть момент, в течение этого первого возраста, когда благодаря тому, что возрастание сил превзошло рост потребностей, подрастающее живое существо, абсолютно пока еще слабое, делается относительно сильным. Так как потребности его еще не все развились, то его наличных сил более чем достаточно для удовлетворения имеющихся потребностей. Как человек, оно было бы очень слабым; как дитя, оно очень сильно.

Откуда происходит слабость человека? От неравенства между его силой и желаниями. Страсти именно делают нас слабыми, потому что для их удовлетворения требовалось бы более сил, нежели дала нам природа. Сокращайте, значит, желания: это все равно, что увеличивать свои силы; кто может больше, чем желает, у того есть остаток их; он, несомненно, существо очень сильное. Вот третья ступень в развитии детства — о ней теперь я и буду говорить. Я продолжаю называть ее детством за неимением выражения, более пригодного для обозначения ее; этот возраст приближается к юношескому, но не является еще возрастом зрелости.

В двенадцать или тринадцать лет силы ребенка развиваются гораздо быстрее потребностей. Самая сильная из последних, самая страшная не дает еще себя чувствовать; самый орган ее остается в состоянии несовершенства и только тогда способен выйти из него, когда его принудит к этому воля. Будучи мало чувствительным к суровостям климата и времен года, ребенок безнаказанно бравирует этим, его зарождающийся жар заменяет ему платье; аппетит заменяет приправу: все, что может питать, пригодно для этого возраста; захочется спать ему — он растягивается на земле и спит; он всюду видит себя окруженным всем тем, что ему необходимо; ни одна воображаемая потребность не мучит его; мненье света бессильно

над ним; его желания не идут дальше того, что можно забрать руками; он не только может удовлетворить сам себя, но у него силы даже больше, чем нужно; это единственное время в его жизни, когда возможно подобное состояние.

Я предчувствую возражение. Правда, мне не скажут, что у ребенка больше потребностей, чем я предполагаю, но станут отрицать силу, которую я приписываю ему: не подумают, что я говорю о своем воспитаннике, а не о тех движущихся куклах, которые путешествуют из комнаты в комнату, которые падают в ящике и таскают тяжести из картона. Мне скажут, что мужская сила обнаруживается только вместе с возмужалостью, что лишь жизненные силы, выработанные в соответственных сосудах и распространившиеся по всему телу, могут придать мускулам плотность, деятельность, крепость, упругость, из которых вытекает настоящая сила. Вот она — кабинетная философия; что же касается меня, то я ссылаюсь на опыт. Я вижу в ваших деревнях, как подростки падают, боронят, управляют плугом, нагружают бочки с вином, правят телегой — совершенно, как их отцы: их можно было бы принять за взрослых, если бы не выдавал их звук голоса. Даже в городах наших молодые рабочие, кузнецы, слесари почти так же сильны, как и мастера их, и были бы не менее ловки, если бы вовремя обучили их. Если и есть тут разница — и я согласен, что она есть, — то она, повторяю, гораздо меньше разницы между пылкими желаниями взрослого и ограниченными желаниями ребенка. К тому же мы ведем здесь речь не только о физических силах, но преимущественно об умственной силе и способности, которая восполняет их или направляет.

Этот промежуток, когда индивидуум может больше, чем желает, хотя и не представляет собою поры наибольшей абсолютной силы, есть, как я уже сказал, пора наибольшей относительной силы. Это самое драгоценное время жизни — время, которое приходит только раз; оно очень кратко и тем более кратко, что, как увидим впоследствии, именно этому времени и важно дать хорошее употребление.

Что же ребенку делать с этим избытком способностей и сил, который теперь у него налицо, но которого не будет в другом возрасте? Он постарается употребить его на занятия, которые могли бы ему в случае нужды принести пользу; он перенесет, так сказать, на будущее излишек своего теперешнего бытия; сильный ребенок приготовит запасы для слабого взрослого; но он устроит свои склады не в сундуках, которые могут у него украсть, и не в титулах, которые пужны ему: чтобы действительно обладать своим приобретением, он поместит его в своих руках, в голове, в самом себе. Вот, значит,

время для работ, образования, учения, и заметьте, что не я произвольно делаю этот выбор: его указывает сама природа.

Человеческий разум имеет свои пределы, и один человек не только не может знать всего, но не может даже целиком знать то немногое, что знают другие люди. Так как противоположное всякому ложному положению есть истина, то число истин неисчерпаемо, как и число заблуждений. Нужен, значит, выбор относительно вещей, которые следует преподавать, и времени, пригодного для изучения их. Из знаний, которые нам под силу, одни ложны, другие бесполезны, третьи служат пищей для высокомерия того, кто ими обладает. Только те немногие знания, которые действительно содействуют нашему благосостоянию, и достойны поисков за ними умного человека, а следовательно, и ребенка, которого хотят сделать таковым. Надлежит знать не то, что есть, но только то, что полезно.

Из этого небольшого числа нужно исключить в данном случае еще те истины, для понимания которых нужен ум, вполне уже сформировавшийся, затем истины, предполагающие знание людских отношений, которого ребенок не может приобрести, и те, которые хотя сами по себе правильны, но располагают неопытную душу к ложному мышлению о других предметах.

Итак, мы очертили себе самый маленький кружок по сравнению с действительностью; но какую все еще огромную сферу представляет этот кружок, если мерить по детскому уму! О, тайники человеческого разума! Какая дерзкая рука осмелилась коснуться вашего покрова? Сколько пропастей, я вижу, роется нашими суетными науками вокруг этого юного бедняги! О, ты, который намерен вести его по этим опасным тропинкам и отдернуть перед его глазами священную завесу природы,— трепещи! Хорошо удостоверься прежде всего в выносливости его головы и твоей собственной; бойся, чтоб она не закружилась у того или другого, а быть может, и у обоих вместе. Страшись благовидных приманок лжи и одуряющих паров высокомерия. Помни, постоянно помни, что невежество никогда не было причиной зла, что лишь заблуждение пагубно и что заблуждаются не насчет того, чего не знают, а насчет того, что думают знать.

Успехи ребенка в геометрии могут вам служить опытом и известного рода мерой для суждения о развитии его разума; но как скоро он может различать, что полезно и что нет, требуется много осторожности и искусства для того, чтобы вести его к занятиям умозрительным. Хотите вы, например, чтоб он отыскал среднюю пропорциональную между двумя линиями; устройте прежде всего дело так, чтоб ему потребовалось найти квадрат, равный данному прямоугольнику; если же вопрос шел бы о двух средних пропорцио-

нальных, то пришлось бы сначала заинтересовать его задачей удвоения куба, и т. д. Смотрите, как мы постепенно приближаемся к понятиям моральным, которыми определяется добро и зло. До сих пор мы знали только закон необходимости; теперь мы обращаем внимание на то, что полезно; скоро мы дойдем до того, что прилично и хорошо.

Один и тот же инстинкт одушевляет различные способности человека. За деятельностью тела, стремящегося к развитию, следует деятельность ума, который ищет знаний. Сначала дети только подвижны, затем они становятся любопытными; и это любопытство, хорошо направленное, есть двигатель возраста, до которого мы дошли теперь. Станем всегда различать наклонности, порождаемые природой, от тех, которые порождаются людским мнением. Есть жажда знания, которая основана лишь на желании слыть за ученого; есть и другая, которая рождается от естественного для человека любопытства по отношению ко всему, что может его интересовать — вблизи или издалека. Врожденное стремление к благосостоянию и невозможность вполне удовлетворить это стремление заставляют человека беспрестанно изыскивать новые средства для содействия ему. Такова первая основа любознания; это естественное для человеческого сердца влечение, но развитие его совершается лишь пропорционально нашим страстям и нашим познаниям. Представьте себе философа, сосланного на необитаемый остров со своими инструментами и книгами и уверенного, что он проведет там одиноко остаток своих дней: он не станет уже хлопотать о системе мира, о законах притяжения, о дифференциальном исчислении; он, быть может, во всю жизнь не откроет ни одной книги; но он ни в каком случае не преминет обойти до последнего уголка свой остров, как бы ни был он велик. Выкинем же из наших первых занятий и те познания, стремление к которым не оказывается естественным для человека, и ограничимся теми, к которым влечет нас инстинкт.

Остров для человеческого рода — это земля; самый поразительный для наших глаз предмет — солнце. Лишь только мы начинаем удаляться от самих себя, наши первые наблюдения должны обратиться на то и другое. Потому-то философия почти всех диких народов вертится исключительно около вопросов о воображаемых разделах земли и о божественности солнца.

Какое уклонение, скажут, быть может. Сейчас мы были заняты только тем, что касается нас, что непосредственно нас окружает, — и вот мы вдруг проносимся по земному шару и перескакиваем на край Вселенной! Но это уклонение есть следствие развития наших сил и склонности ума нашего. В пору слабости и неспособности за-

бота о самосохранении сосредоточивает нас на самих себе; в пору мощи и силы желание расширить свое существование переносит нас за пределы нас самих и заставляет нас ринуться так далеко, как только можно; но так как интеллектуальный мир нам еще незнаком, то мысль наша не идет дальше нашего зрения и понимание наше расширяется лишь вместе с пространством, им обнимаемым.

Преобразуем ощущения свои в идеи, но не будем сразу перескакивать от предметов чувственно-воспринимаемых к предметам умственным, с помощью первых мы и должны дойти до вторых. При первоначальной работе ума чувства пусть будут всегда нашими руководителями: не нужно иной книги, кроме мира; не нужно иного наставления, кроме фактов. Читающий ребенок не думает, он только и делает, что читает; он не учится, а учит слова.

Сделайте вашего ребенка внимательным к явлениям природы, и вы скоро сделаете его любознательным; но чтобы поддерживать в нем любознательность, не торопитесь никогда удовлетворять ее. Ставьте доступные его пониманию вопросы и предоставьте ему решить их. Пусть он узнает не потому, что вы ему сказали, а потому, что сам понял; пусть он не выучивает науку, а выдумывает ее. Если когда-нибудь вы замените в его уме рассуждение авторитетом, он не будет уже рассуждать: он станет лишь игрушкой чужого мнения.

Вы хотите обучать этого ребенка географии и отправляетесь за глобусами, земными и небесными, за картами; сколько инструментов! К чему все эти представления? Почему не показываете ему прежде всего самый предмет, чтоб он по крайней мере знал, о чем вы ему говорите?

В один прекрасный вечер мы отправляемся гулять в подходящую местность, где горизонт совершенно открыт и позволяет в полном блеске видеть заход солнца; мы подмечаем предметы, по которым можно признать место заката. На другой день, чтобы подышать свежестью утра, мы снова идем в то же место до восхода солнца. Пустив по небу огненные полосы, оно еще издали дает знать о своем приближении. Пожар увеличивается, восток весь как бы в пламени; блеск его возбуждает в нас ожидание светила еще задолго до его появления: ежеминутно ждешь, что оно вот-вот явится; наконец, мы его видим. Блестящая точка сверкнула, как молния, и тотчас наполнила все пространство; покров мрака рассеивается и падает. Человек узнает свое обиталище и находит его разукрашенным. Зелень за ночь получила новую яркость колорита; при блеске зарождающегося дня, при первых лучах, которые золотят ее, она является нам покрытою блестящею сетью росы, отражающей в себе свет и цвета. Птицы собираются хором и единогласно приветствуют Отца

жизни; ни одна не безмолвствует в этот момент; их щебетанье, пока еще слабое, кажется более томным и нежным, чем в остальное время дня,— в нем чувствуется вялость мирного пробуждения. Стечение всех этих предметов дает чувствам впечатление свежести, которое как бы проникает в самую душу. Это — полчаса восторга, пред которым ни один человек не может устоять: зрелище, столь великое, столь прекрасное и восхитительное, никого не оставляет равнодушным.

Полный восхищения, наставник хочет сообщить его и ребенку; он думает тронуть его, обращая его внимание на ощущения, которые волнуют его самого. Чистая глупость! Жизненность зрелища природы заключена в сердце человека; чтобы видеть его, нужно его чувствовать. Ребенок замечает предметы, но он не может заметить отношений, которые связывают их, не может постичь сладкой гармонии их союза. Чтобы испытывать сложное впечатление, являющееся одновременным результатом всех этих ощущений, нужна опытность, которой он не приобрел, нужны чувствования, которых он не испытал. Если он не бродил долго по бесплодным равнинам, если горячие пески не жгли его ног, если его никогда не мучило удушливое отражение обожженных солнцем утесов,— как он может наслаждаться свежим воздухом прекрасного утра, как может очаровать его чувства благоухание цветов, прелесть зелени, влажное испарение росы, прогулка по мягкому и нежному лугу? Может ли пение птиц пробудить в нем сладостное волнение, если ему незнаком еще язык любви и удовольствия? Может ли он с восторгом видеть зарождение чудного дня, если воображение не умеет нарисовать ему тех радостей, которыми можно наполнить этот день? Наконец, как он может тронуться красотой зрелища природы, если он не знает, чья рука озаботилась украсить его?

Не держите перед ребенком речей, которых он не может понять. Прочь описания, прочь красноречие, прочь образы и поэзия! Теперь дело не в чувствовании или вкусе. Продолжайте быть ясным, простым и холодным; скоро, скоро придет пора взяться за иной язык.

Воспитанный в духе наших правил, привыкший извлекать все орудия из самого себя и прибегать к помощи другого в том лишь случае, когда сознает свое бессилие, ребенок долго и молча станет рассматривать каждый новый предмет, который увидит. Он вдумчив, но не любит расспросов. Довольствуйтесь поэтому тем, чтобы представлять ему вовремя предметы; затем, когда увидите, что его любознательность достаточно возбуждена, задайте ему какой-нибудь лаконичный вопрос, который навел бы его на путь к решению.

В данном случае, насмотревшись вместе с ним на заходящее

солнце, обратив его внимание на горы и другие соседние предметы, давши ему вдоволь наговориться о всем этом, помолчите несколько минут, как будто задумавшись, и затем скажите ему: «Я думаю о том, что вчера вечером солнце зашло вон там, а сегодня утром взошло тут; как это могло быть?» Больше ничего не прибавляйте: если он будет вам задавать вопросы, не отвечайте, — заговорите о другом. Предоставьте его самому себе и будьте уверены, что он над этим задумается.

Чтобы ребенок привык к внимательности и чтобы его сильно поражала какая-нибудь осязательная истина, для этого нужно, чтоб она несколько дней тревожила его, прежде чем он ее откроет. Если он этим путем не достаточно постигает ее, есть средство сделать ее еще более осязательной: нужно перевернуть вопрос. Если он не понимает, как солнце переходит от запада к востоку, он по крайней мере знает, как оно переходит от востока к западу; чтобы знать это, нужно только иметь глаза. Разъясните же первый вопрос с помощью другого; если ученик ваш не совсем туп, аналогия станет настолько ясной, что не может ускользнуть от него. Вот первый урок его по космографии.

Так как от одной чувственной идеи к другой мы идем вперед всегда медленно, долго осваиваемся с одною, прежде чем перейти к другой, и, наконец, никогда не принуждаем своего воспитанника к вниманию, то от этого первого урока далеко еще до ознакомления с истинным движением солнца и фигурою земли; но так как все видимые движения небесных тел основаны на одном и том же принципе и первое наблюдение ведет ко всем остальным, то, чтобы от суточного обращения дойти до вычисления затмений, для этого нужно меньше усилия, хотя и больше времени, чем для того, чтобы хорошо понять смену дня и ночи.

Так как солнце обращается вокруг мира, то оно описывает, значит, круг, а всякий круг должен иметь центр; это мы уже знаем. Этого центра нельзя видеть, ибо он в самой середине земного шара; но можно обозначить на поверхности две противоположные точки, ему соответствующие. Прут, проходящий через три точки и продолженный с той и с другой стороны до неба, будет осью мира и осью ежедневного вращения солнца. Круглый волчок, вертящийся на своем острие, представляет небо, вращающееся около своей оси; два конца волчка — это два полюса: ребенок будет очень рад узнать, где один из полюсов; я покажу его в хвосте Малой Медведицы. Вот развлечение для ночного времени. Мало-помалу мы знакомимся со звездами, а отсюда зарождается первое желание ознакомиться с планетами и наблюдать созвездия.

Вы видели солнечный восход в Иванов день; теперь посмотрим на него в Рождество или в другой какой-нибудь хороший зимний день; известно ведь, что мы не ленивы и находим себе удовольствие бравировать перед стужею. Я принимаю меры, чтобы это второе наблюдение происходило в той же местности, где было сделано первое; и если употребить некоторую ловкость, чтобы подготовить замечание, то один из нас непременно воскликнет: «Ай-ай, вот так штука: солнце-то восходит не на том же месте! — вот наши прежние приметы, а теперь оно восходит вот где» и т. д. Значит, есть летний восток и зимний восток и т. д. Молодой наставник, ты уже выведен на путь. Этих примеров тебе должно быть достаточно для того, чтобы с полной ясностью изучить небесную сферу, принимая мир за мир, солнце за солнце.

Вообще, только тогда вещь заменяйте знаком, когда вам невозможно показать ее; ибо знак поглощает внимание ребенка и заставляет его забывать о вещи, им представляемой.

Армиллярная сфера¹ кажется мне машиной, нескладно устроенной, с несоответственными размерами. Эта путаница кругов и странных фигур, на них обозначенных, придает ей вид тарабарщины, пугающей детский ум. Земля слишком мала, круги слишком велики, слишком многочисленны; иные, как например, колурии², совершенно бесполезны; каждый круг шире земли; толщина картона придает им вещественный вид, заставляющий принимать их за действительно существующие кругообразные массы; и когда вы говорите ребенку, что это круги воображаемые, он не знает, что же у него перед глазами, и ничего уже не понимает.

Мы никогда не умеем поставить себя на место детей; мы не входим в их идеи, а преподносим им наши собственные и, следя всегда лишь за нашими собственными рассуждениями, с помощью последовательного сцепления истин набиваем голову их лишь нелепостями и заблуждениями.

Спорят, что выбрать: анализ или синтез — при изучении наук. Не всегда необходимо делать выбор: иной раз при одних и тех же исследованиях можно и разлагать, и слагать, можно руководить ребенком методом поучающим, но так, чтоб ему казалось, что он делает только анализ. В этом случае оба метода, одновременно применяясь, могут служить друг для друга доказательством. Отправляясь сразу от двух противоположных пунктов и не подозревая, что совершает один и тот же путь, ребенок будет совершенно изумлен встречей, и это изумление может быть только приятным. Я хотел бы, например, приняться за географию с этих двух концов и к изучению обращения земного шара присоединить измерение частей его, начи-

ная с того места, где живем. В то время, как ребенок изучает сферу и переносится, таким образом, в небеса, верните его к делению земли и покажите ему сперва его собственное местопребывание.

Первыми географическими пунктами для него будут город, где он живет, и деревенский дом его отца; потом пойдут — промежуточная местность, текущие по соседству реки, наконец, вид солнца и способ ориентироваться. Тут пункт соединения. Пусть он сам составит карту всего этого — карту самую простую и сначала состоящую из двух только предметов, к которым он мало-помалу присоединит и другие, по мере ознакомления и оценки их расстояний и положения. Теперь вы уже видите, каким преимуществом мы снабдили его заранее, давши ему верный глазомер.

Несмотря на это, ребенком нужно, конечно, несколько руководить, но руководить очень мало, незаметным для него образом. Если он ошибается, оставьте его в покое, не исправляйте ошибок, ждите молча, пока он сам не будет в состоянии увидеть их и исправить, или, самое большее, приведите при удобном случае какую-нибудь выкладку, которая дала бы ему заметить свой промах. Если б он никогда не ошибался, он так хорошо не научился бы. Впрочем, дело не в точном знании топографии страны, но в ознакомлении со средством изучить ее. не важно, будут ли у него в голове эти карты, — важно лишь, чтоб он хорошо понимал, что они представляют, и чтоб имел ясную идею об искусстве составления их. Видите, какая уже разница между знанием ваших учеников и незнанием моего! Те знают карты, мой составляет их. Вот и новое убранство для его комнаты.

Помните всегда, что задача моего образования не в том, чтобы преподать ребенку много вещей, но в том, чтобы допускать в его мозг лишь идеи правильные и ясные. Если б он ничего не знал, мне горя мало, лишь бы он не заблуждался, и я для того только влагаю ему в голову истины, чтобы гарантировать его от заблуждений, которые он приобрел бы вместо этих истин. Разум, способность суждения приходит медленно, предрассудки же прибегают толпою; от них-то и нужно его предохранить. Но если вы в науке видите одну лишь науку, то вы пускаетесь в бездонное, безбрежное море, наполненное подводными рифами, и вам никогда из него не выбраться. Когда я вижу, как человек, одержимый страстью к познаниям, всецело поддается их чарам и перебегает от одного к другому, не умея остановиться, — мне так и кажется, что я вижу собиравшего на берегу раковины ребенка, который сначала нагружает себя ими, потом, увлеченный все новыми и новыми находками, бросает одни, снова набирает другие, пока, наконец, подавленный их многочислен-

ностью и не знающий, что выбрать, не бросает всего, возвращаясь домой с пустыми руками.

В первый возраст времени было много: мы старались больше терять его, из опасения, чтоб оно не оказалось дурно употребленным. Здесь совершенно наоборот: у нас не хватает времени на то, чтобы сделать все, что было бы полезно. Помните, что страсти приближаются, а как только они постучатся в дверь, ваш воспитанник устремит на них уже все свое внимание. Мирный возраст разума столь краток, так быстро проходит и столько должен выполнить необходимых задач, что было бы безумием думать, что его хватит на то, чтобы сделать ребенка ученым. Вопрос не в том, чтобы преподать ему науки: нужно лишь зародить в нем вкус, чтоб он полюбил их, и дать ему методы, чтобы он мог изучать, когда вкус этот лучше разовьется. В этом, без сомнения, состоит основной принцип всякого хорошего воспитания.

Теперь пора также мало-помалу приучать ребенка к тому, чтоб он умел сосредоточивать внимание на одном и том же предмете; но это внимание должно поддерживаться не принуждением, а непременно удовольствием или желанием; нужно прилагать всю заботу, чтобы оно не утомляло ребенка и не доходило до скуки. Будьте же всегда настороже и, что бы там ни было, бросайте все, прежде чем он станет скучать, ибо не так важно, чтоб он учился, как то, чтоб он ничего не делал против желания.

Если он сам обращается к вам с вопросами, отвечайте столько, сколько нужно для того, чтобы питать в нем любопытство, а не пресыщать его; а главное — если видите, что он вместо расспросов с целью научиться чему-нибудь, начинает молоть вздор и засыпать вас глупыми вопросами, то немедленно остановитесь и будьте уверены, что он не интересуется уже вещью, а только стремится подчинить вас своим запросам. Нужно обращать больше внимания на мотив, заставляющий его говорить, чем на слова, им произносимые. Это предостережение, до сих пор не столь нужное, приобретает крайнюю степень важности, лишь только ребенок начинает рассуждать.

Между общими истинами существует взаимная связь, благодаря которой все науки основываются на общих принципах и из них последовательно развиваются: этою связью обусловлен философский метод. Но не о ней теперь идет речь. Есть связь совершенно иного рода, — связь, благодаря которой всякий предмет в частности привлекает другой предмет и всегда указывает на тот, который за ним следует. Этого порядка, который постоянно возбуждаемым любопытством питает внимание, потребное для всех вообще предметов, держится большинство людей, и он-то особенно необходим для детей.

Когда мы ориентируемся для снятия местности на карту, нам нужно начертить меридианы. Две точки пересечения между двумя равными теньями, утренней и вечерней, дают превосходный меридиан для нашего 13-летнего астронома. Но меридианы эти стираются; чтобы начертить их, пужно время; они принуждают работать всегда на одном и том же месте: такие хлопоты, такое стеснение могут надоесть ему. Мы это предвидели — мы заранее озаботились этим.

Вот я снова пускаюсь в длинные и мелочные подробности. Читатели, я слышу ваш ропот и пренебрегаю им: я не хочу пожертвовать вашему нетерпению наиболее полезною частью этой книги. Примиритесь с моими подробностями, ибо я примирился уже с вашими жалобами.

Давно уже мы заметили — мой воспитанник и я, — что янтарь, стекло, сургуч, различные тела, подвергнутые трению, притягивают соломинки, тогда как прочие не притягивают. Случайно мы находим тело, обладающее еще более замечательным свойством: оно притягивает, на некотором расстоянии и без всякого трения, металлические опилки и всякие кусочки железа. Долгое время мы забавляемся этим свойством, ничего, кроме этого, не замечая тут. Наконец, мы открываем, что оно сообщается и самому железу, если его известным образом потереть магнитом.

Однажды мы отправляемся на ярмарку * и видим, как фокусник с помощью куска хлеба приманивает восковую утку, плавающую в бассейне с водою. Совершенно изумленные, мы не говорим, однако: «Это — колдун», потому что не знаем, что такое колдун. Нас непрерывно поражают действия, причины которых мы не знаем, но мы не торопимся ни о чем судить и спокойно остаемся в своем невежестве, пока не находим случая выйти из него.

Вернувшись домой, мы так долго толковали о ярмарочной утке, что нам пришлось в голову проделать то же самое: мы берем порядочную иглу, хорошо намагниченную, окружаем ее белым воском, которому придаем, насколько умеем, форму утки, так чтоб игла проходила через тело, а ушко иглы образовало клюв. Мы пускаем на воду эту утку, подносим к клюву конец ключа и видим — легко понять

* Я не могу удержаться от смеха, читая тонкую критику г. де Формея на этот небольшой рассказ. «Фокусник этот, — говорит он, — хвастливо соревнующийся с ребенком и важно читающий мораль его наставнику, есть лично из мира Эмилей»³. Проницательный г. де Формей не мог никак догадаться, что эта сцена была уже подготовлена и что фокусник был научен заранее, какую разыгрывать роль; действительно, об этом я не говорил. Но сколько раз зато я заявлял, что пишу не для таких людей, которым обо всем нужно сказать!

нашу радость,— что наша утка следует за ключом точно так, как ярмарочная утка плыла за куском хлеба. Наблюдать, в каком направлении утка останавливается, если ее оставить на свободе, мы успеем и в другой раз; а пока, совершенно поглощенные своим предметом, мы не желаем ничего больше.

В тот же вечер мы опять идем на ярмарку с готовым хлебом в карманах: и лишь только фокусник проделал свои штуки, мой маленький ученый, который едва владел собою, говорит ему, что этот фокус не труден и что он сам так же хорошо все это проделает. Его ловят на слове; он тотчас вынимает из кармана кусок хлеба, в котором был спрятан кусочек железа, и с бьющимся сердцем подходит к столу; почти дрожа от волнения, он подносит хлеб,— утка подплывает и следует за ним; ребенок вскрикивает и трепещет от радости. От рукоплесканий, от криков собравшейся публики голова у него идет кругом, он вне себя. Сконфуженный фокусник подходит, однако, к нему, обнимает его, поздравляет и просит удостоить его и завтра своим присутствием, добавляя, что он позаботится, чтобы собралось еще больше народу подивиться его ловкости. Мой маленький натуралист, возгордившийся успехом, не прочь и еще поболтать; но я тотчас полагаю предел его болтовне и увожу его домой, осыпанного похвалами.

До следующего дня ребенок, с забавным волнением, считает каждую минуту. Он приглашает всякого встречного — ему хочется, чтобы весь род человеческий был свидетелем его славы; он ждет не дождется назначенного часа и собирается раньше срока: мы летим на место сбора; зала уже полна. Входим — молодое сердце прыгает от радости. На очереди стоят другие фокусы; фокусник превосходит самого себя и проделывает изумительные вещи. Ребенок ничего не видит; он волнуется, потеет, едва переводит дух и рукою, дрожащей от нетерпения, все время перебирает в кармане кусок хлеба. Наконец, и его очередь; фокусник торжественно предуведомляет публику. Он подходит, несколько сконфуженный, вынимает свой кусок и... О, превратность человеческих судеб! Утка, столь ручная вчера, сегодня стала дикой; вместо того чтобы подставить клюв, она повертывает хвостом и уплывает; она так же старательно избегает хлеба и руки, его подающей, как вчера гонялась за ними. После тысячи бесполезных попыток, неизменно вызывавших насмешки, ребенок начинает жаловаться, уверяет, что его обманывают, что прежнюю утку подменили другою, и вызывает фокусника, чтоб он попробовал сам приманить эту утку.

Фокусник, ничего не говоря, берет кусок хлеба и подносит его утке; утка тотчас же начинает гнаться за хлебом и плывет за удаляю-

щеюся рукой. Ребенок берет этот же самый кусок; но опять, как и прежде, никакого успеха: утка издевается над ним и юлит кругом по бассейну. Наконец, он отходит прочь совершенно сконфуженный и уже более не решается подвергать себя насмешкам.

Тогда фокусник берет принесенный ребенком кусок хлеба и пускает его в дело с таким же успехом, как и свой; он вынимает из него железо перед публикой, — снова хохот над нами, — и этим простым куском хлеба приманивает утку, как и прежде. Он проделывает то же с помощью другого куска, отрезанного перед всей публикой посторонними руками, приманивает своей перчаткой, концом кольца: наконец, удаляется на середину комнаты и, заявив напыщенным тоном, свойственным этому люду, что утка так же будет слушаться и его голоса, как слушается жестов, отдает ей приказание — и утка повинуетя: он велит ей плыть направо, и она плывет направо; велит вернуться, и она возвращается; велит кружиться, и она кружится — не успеет приказать, как она уже готова. Удвоенные рукоплескания слишком обидны для нас. Мы ускользаем незаметно и запираемся в своей комнате, вместо того чтобы рассказывать всем о своих успехах, как мы предполагали.

На другой день утром стучат в нашу дверь; я отворяю — это вчерашний фокусник. Он скромно жалуется на наше поведение. Что он сделал нам такого, что мы стараемся уронить его фокусы в глазах публики и отнять у него средства к пропитанию? Что тут такого удивительного в искусстве приманивать восковую утку, чтобы стоило покупать эту честь ценою заработка честного человека? «Право, господа, если б я имел другой талант для своего пропитания, я бы не гордился этим искусством. Вы должны были бы подумать, что человек, всю жизнь свою занимавшийся этим жалким промыслом, знает тут больше вас, занимавшихся этим лишь несколько минут. Если я не сразу показал вам свои главные номера, то это потому, что не следует торопиться неосмотрительно выставлять напоказ все, что знаешь; я всегда стараюсь свои лучшие штучки сберечь про запас, и после всего этого у меня найдутся еще и другие для того, чтобы поубавить пыла у юных вертопрахов. Впрочем, господа, я по своей охоте пришел показать вам секрет, поставивший вас в такой тупик; прошу только вас не употреблять его мне во вред и быть в другой раз более сдержанными».

Затем он показывает нам свой механизм, и мы с крайним удивлением видим, что тут все дело в сильном, хорошо заправленном магните, который незаметно приводится в движение спрятавшимся под стол ребенком.

Фокусник складывает свои инструменты; поблагодарив его и из-

впнившись перед ним, мы хотим ему подарить что-нибудь, но он отказывается. «Нет, господа, я не настолько доволен вами, чтобы принимать от вас подарки; я, против вашей воли, оставляю вас обязанными передо мной — это мое единственное мщение. Знайте, что великодушные встречается во всех состояниях; я беру плату за свои фокусы, а не за свои уроки».

Выходя, он обращается лично ко мне с громким выговором. «Я охотно извиняю. — говорит он, — этого ребенка: он согрешил по неведению. Но вы, сударь, должны были знать его ошибку — зачем же вы допустили ее? Раз вы живете вместе, вы, как старший, должны заботиться о нем, давать ему советы: ваша опытность — это авторитет, который должен им руководить. Когда он в зрелых летах станет упрекать себя в заблуждениях молодости, он, несомненно, поставит вам в упрек те, от которых вы его не предостережете» *.

Он уходит и оставляет обоих нас сконфуженными. Я упрекаю себя в своей мягкой уступчивости; я обещаю ребенку в другой раз жертвовать ею ради его интересов и предостерегать его от ошибок, прежде чем он их сделает; ибо близко время, когда наши отношения изменятся и когда услужливость товарища должна смениться строгостью наставника: перемена эта должна производиться постепенно; нужно все предусмотреть, и притом предусмотреть издали.

На другой день мы опять идем на ярмарку, чтобы снова посмотреть фокус, секрет которого мы узнали. С глубоким уважением подходим мы к нашему Сократу-фокуснику⁴; мы едва осмеливаемся поднять на него глаза; он осыпает нас любезностями и предоставляет нам почетное место, что еще более нас посрамляет. Он проделывает свои фокусы, как и всегда; но над фокусом с уткой самодовольно останавливается подольше, часто поглядывая на нас с довольно гордым видом. Мы все знаем и не смеем пикнуть. Если бы мой воспитанник осмелился только открыть рот, его, право, стоило бы задушить.

Все детали этого примера важнее, чем это кажется. Сколько уроков в одном уроке! Сколько оскорбительных последствий влечет за собою первое движение тщеславия! Молодой наставник, старательно высматривай это первое проявление. Если ты сумеешь так устроить,

* Мог ли я предполагать, что найдется такой глупый читатель, который не заметит, что этот выговор есть речь, продиктованная слово в слово наставником, имевшим здесь свои цели? Можно ли было во мне самом предполагать столько тупости, чтобы я считал естественной эту речь в устах фокусника? Я по крайней мере полагал, что я тут высказал очень небольшой талант влагать в уста людей речи, свойственные их состоянию. Посмотрите, кроме того, на конец следующего параграфа. Не ясно ли было это для всякого другого, кроме г. Формея?

чтобы результатом его оказалось одно унижение и неприятности *, то будь уверен, что оно долго не повторится. Сколько приготовлений! — скажете вы. Я согласен — и все для того, чтобы устроить компас, который заменил бы нам меридиан.

Узнавши, что магнит действует сквозь другие тела, мы спешим устроить приспособление, подобное тому, какое мы видели: выдолбленный стол, очень плоский бассейн, прилаженный на этом столе и наполненный на несколько линий водою, утку, сделанную несколько тщательнее, и т. д. Часто и внимательно следя за бассейном, мы подмечаем, наконец, что утка, оставленная в покое, стремится принять почти всегда одно и то же направление: находим, что оно идет с юга на север. Больше ничего и не нужно: компас найден или почти найден; и мы уже в области физики.

На земле бывают различные климаты, и у этих климатов бывают различные температуры. Разница между временами года по мере приближения к полюсу делается все заметнее; все тела от холода сжимаются, от тепла расширяются; действие это легче измеряется в жидкостях и заметнее всего в спиртуозных жидкостях — вот основание термометра. Ветер ударяет в лицо; значит, воздух есть тело, нечто текучее; мы его чувствуем, хотя не имеем средства видеть его. Опрокиньте стакан в воду, вода не наполнит его, если только вы не оставите прохода для воздуха; значит, воздух способен оказывать сопротивление. Погрузите стакан глубже, вода поднимется в пространстве, которое было занято воздухом, но не в состоянии целиком его заполнить; значит, воздух способен сжиматься до известной степени. Мяч, наполненный сжатым воздухом, прыгает легче, чем наполненный каким-нибудь другим материалом; значит, воздух — тело упругое. Лежа в ванне, поднимите руку горизонтально над водою: и вы почувствуете, что на нее давит страшная тяжесть; значит, воздух — тело, имеющее тяжесть. Приводя воздух в равновесие с другими жидкостями, можно измерять вес его; на этом основаны барометр, сифон, духовое ружье, воздушный насос. Все законы статики и гидростатики находятся с помощью таких же грубых опытов. Я не хочу, чтобы за каким-либо из всех этих наблюдений отправлялись в кабинет экспериментальной физики; мне не нравится весь этот набор инструментов и машин. Препемы учености убивают науку. Все эти машины или пугают ребенка, или своим видом развлекают и по-

* Это унижение, эти неприятности, значит, дело моих рук, а не фокусника. Так как г. Формей хотел еще при жизни моей овладеть этой книгой и напечатать ее без всяких иных церемоний, кроме замены моего имени его собственным, то он должен был бы по крайней мере принять на себя труд прочитать ее — я не говорю уже о состоянии.

глощают то внимание, которое он должен был обратить на их действия.

По моему мнению, все свои машины мы должны делать сами; но мы не должны, не видевши опыта, начинать дело с приготовления инструмента; мы должны наткнуться на опыт как бы случайно и потом мало-помалу создавать инструмент для проверки его. Пусть лучше инструменты наши будут не так совершенны и точны, лишь бы иметь нам более ясное понятие о том, чем они должны быть, и о действиях, которые они должны производить. Для своего первого урока статики, вместо того чтобы искать весы, я просовываю палку в спинку стула, привожу ее в равновесие и измеряю оба конца; затем привешиваю с той и другой стороны тяжести — то равные, то неравные — и, подвигая ее то вперед, то назад, по мере необходимости, нахожу, наконец, что равновесие зависит от взаимного соотношения между количеством веса и длиною рычагов. И вот мой юный физик уже умеет проверять весы, не выдавши их.

Неоспоримо, что о вещах, которые мы узнаем подобным образом сами, получаютя понятия гораздо более ясные и верные, чем те, которыми мы обязаны чужим наставлениям; не говоря уже о том, что этим путем мы не приучаем своего разума к раболепному подчинению авторитету, мы, кроме того, делаемся более искусными в отыскании отношений, в связывании идей, в изобретении инструментов, чем тогда, когда все это усваиваем в том самом виде, как нам предлагают, и ослабляем таким образом ум свой бездеятельностью, подобно тому как и тело человека, которому все подают, которого одевают, обувают всегда слуги и возят лошади, лишается, наконец, своей силы и употребления членов. Буало⁵ хвалился, что научил Расина⁶ подбирать трудные рифмы. Среди стольких удивительных методов, имеющих целью упростить изучение наук, мы, право, очень нуждаемся в том, чтобы кто-нибудь дал указание, как учиться с напряжением сил.

Самое ощутительное преимущество этих медленных и трудных изысканий заключается в том, что среди умозрительных занятий они поддерживают в теле деятельность, в членах гибкость и постоянно приучают руки к труду и полезному для человека употреблению. А вся эта масса инструментов, выдуманных для того, чтобы руководить нами в наших опытах и восполнять точность чувств, заставляет нас пренебрегать этим упражнением. Графометр избавляет от необходимости оценивать величину углов; глаз, вместо того чтобы с точностью измерять расстояния, полагается на цепь, которая за него измеряет; безмен освобождает меня от необходимости прикидывать на руке вес, который я узнаю с помощью этого безмена. Чем искуснее

наши приборы, тем более грубыми и неловкими делаются наши органы: собирая вокруг себя машины, мы не находим их уже в самих себе.

Но когда мы употребляем на производство этих машин ту ловкость, которая могла бы заменить машины, когда пропущательность, необходимую для того, чтобы обходиться без них, мы применяем к их устройству, то мы выигрываем, ничего не теряя, к природе прибавляем искусство и, не делаясь менее ловкими, становимся более изобретательными. Если я, вместо того чтобы привязывать ребенка к книгам, занимаю его работой в мастерской, то руки его работают на пользу ума: он становится философом, думая, что он только ремесленник. Наконец, это упражнение имеет и другие выгоды, о которых я буду говорить ниже, и мы увидим, как от игр философских можно возвыситься до истинно человеческой деятельности.

Я уже сказал, что познания чисто умозрительные почти не пригодны для детей, даже в том возрасте, который близок к юношескому; но не вводя их слишком рано в область систематической физики, устройте дело все-таки так, чтобы все эти опыты связывались один с другим некоторого рода дедукцией, чтобы при помощи этого сцепления дети могли в порядке разместить их в своем уме и в случае нужды припоминать; ибо изолированным фактам и даже суждениям очень трудно долго держаться в памяти, если нам не за что ухватиться, чтобы вызвать их в сознании.

При исследовании законов природы начинайте всегда с явлений наиболее общих и наиболее заметных и приучайте вашего воспитанника принимать эти явления не за доказательство, но за факты. Я беру камень, делаю вид, что кладу его в воздухе; разнимаю руку — камень падает. Эмиль, я вижу, внимательно следит за тем, что я делаю, и я говорю ему: «Почему этот камень упал?»

Какой ребенок станет в тупик при этом вопросе? Никакой; даже Эмиль дал бы ответ, если бы я не принял заранее мер, чтоб он не умел отвечать. Все скажут, что камень падает потому, что он тяжел. А что же бывает тяжелым? То, что падает. Значит, камень потому падает, что он падает? Тут мой юный философ и в самом деле станет в тупик. Вот его первый урок систематической физики; принесет ли он в этом виде ему пользу или нет, но он во всяком случае будет уроком здравого смысла.

По мере того как подвигается вперед разумение ребенка, появляются другие важные соображения, побуждающие нас делать еще более строгий выбор в его занятиях. Как скоро он настолько ознакомился с самим собою, что понимает, в чем состоит его благосостояние, как скоро он может обнять достаточно обширные отношения,

чтобы судить, что́ ему пригодно и что́ не пригодно, с тех пор он уже в состоянии почувствовать разницу между трудом и забавой и смотреть на последнюю лишь как на отдых от первого. Тогда предметы, действительно полезные, могут войти в круг его занятий и заставить его уделять им гораздо больше прилежания, чем он уделял бы простым забавам. Закон необходимости, постоянно возрождаясь, с ранних пор учит человека делать то, что ему не нравится, с целью предупредить зло, которое еще более не нравилось бы. Вот на что пригодна предусмотрительность; а из этой предусмотрительности, хорошо или дурно направленной, рождается вся мудрость или все бедствия человеческие.

Всякий человек хочет быть счастливым; но для достижения счастья нужно прежде всего знать, что такое счастье. Счастье естественного человека так же просто, как и его жизнь: оно состоит в отсутствии страдания; здоровье, свобода, достаток в необходимом — вот в чем оно заключается. Счастье нравственного человека — нечто иное; но не о нем здесь речь. Я не перестану никогда повторять, что только чисто физические предметы могут интересовать детей, в особенности таких, в которых не пробудили тщеславия и которых не заразили заранее ядом предрассудков.

Когда, не испытывая еще нужд, дети уже предвидят их, то разумение их, значит, уже очень развито: они начинают узнавать цену времени. В таком случае следует приучать их направлять свои занятия на предметы полезные, но эта польза должна быть осязаемой для их возраста и доступной их пониманию. Всего, что связано с нравственным порядком и знанием общества, нужно избегать в эту раннюю пору, потому что они не в состоянии понять этого. Нелепо требовать от них прилежания, если им только намекают неопределенно, что это-де служит для их блага, а сами они не знают, каково это благо, если их уверяют, что они извлекут из этого пользу, когда станут взрослыми, а сами они несколько в настоящее время не интересуются этой мнимой пользой, не будучи в состоянии понять ее.

Пусть ребенок ничего не делает на слово: для него хорошо только то, что он сам признает таковым. Заставляя его постоянно обгонять свое понимание, вы думаете, что пускаете в дело предусмотрительность, а на самом деле вам ее недостает. Чтобы вооружить его какими-нибудь простыми орудиями, которых он никогда, быть может, не употребит в дело, вы отнимаете у него самое универсальное орудие человека — здравый смысл; вы приучаете его искать всегда руководителя, быть всюду машиной в руках другого. Вы хотите, чтобы он был послушен в детстве; это значит желать, чтобы, выросши, он стал легковверным простофилей. Вы ему беспрестанно говорите: «Все, что я требую от тебя, служит для твоей же пользы, но ты не в состоянии

понять этого. Что мне за дело до того, исполняешь ты или нет мои требования? Ведь ты трудишься для себя одного». Всеми этими прекрасными речами, которые вы держите теперь перед ним с целью сделать его мудрым, вы подготавливаете успех тех речей, с которыми со временем обратятся к нему мечтатель, тайновидец, шарлатан, плут или любой безумец, желая поймать его в свою ловушку или навязать ему свое безумие.

Взрослому следует знать много такого, полезности чего ребенок не сумеет понять; но нужно ли и можно ли учить ребенка всему тому, что следует знать взрослому? Старайтесь научить ребенка всему, что полезно для его возраста, и вы увидите, что все его время будет с избытком наполнено. Зачем вы хотите, в ущерб занятиям, которые приличны ему теперь, засадить его за занятия, свойственные тому возрасту, дожить до которого у него столь мало вероятия? Но, скажете вы, время ли приобретать нужные знания тогда, когда придет момент употребить их в дело? Не знаю, но знаю одно, что невозможно научиться этому раньше, ибо истинные наши учителя — это опыт и чувство, а что нужно человеку, это человек лучше всего чувствует среди тех отношений, в какие он попал. Ребенок знает, что он создан для того, чтобы стать взрослым; все понятия, которые он может иметь о состоянии взрослого человека, являются для него предметом знания; но он должен оставаться в абсолютном невежестве относительно тех идей об этом состоянии, которые ему не под силу. Вся моя книга есть не что иное, как непрерывное доказательство этого принципа воспитания.

Как скоро мы добились того, что воспитанник наш усвоил идею, соединенную с словом «полезный», мы имеем новое важное средство для управления им: слово это сильно поражает его, потому что он понимает его только в применении к своему возрасту и ясно видит, что здесь дело касается его настоящего благосостояния. На ваших детей это слово не действует, потому что вы не озаботились дать им понятие о пользе, доступное их уму, и потому что, раз другие обязаны всегда доставлять им то, что полезно для них, они сами не имеют уже нужды помышлять об этом и не знают, что такое польза.

Н а ч т о э т о н у ж н о? — вот слова, которые отныне делаются священными, решающими разногласие между ним и мною во всех действиях нашей жизни; вот вопрос, который с моей стороны неизменно следует за всеми его вопросами и служит уздой для тех многочисленных, глупых и скучных расспрашиваний, которыми дети, без устали и пользы, утомляют всех окружающих — скорее с целью проявить над ними некоторого рода власть, чем извлечь из этого какую-нибудь пользу. Кому внушают, как наиболее важный урок,

желание знать только полезное, тот вопрошает, подобно Сократу; он не задает ни одного вопроса, не давши себе в нем отчета, которого, как он знает, потребуют от него прежде, чем разрешить вопрос.

Смотрите, какое могущественное средство действовать на воспитанника даю я в ваши руки. Не зная оснований ни для одной вещи, он почти осужден молчать, когда вам угодно; и наоборот, какое огромное преимущество имсете вы в своих познаниях и опытности, чтобы указывать ему пользу всего того, что ему предлагасте! Ибо не забывайте, что задавать ему этот вопрос значит научать, чтобы он, в свою очередь, и вам задавал его; вы должны рассчитывать, что впоследствии на всякое ваше предложение и он, по вашему примеру, не преминет возразить: «А на что это нужно?»

Здесь, быть может, самая опасная западня для воспитателя. Если вы на вопрос ребенка, из желания отделаться от него, приведете хоть один довод, которого он не в состоянии понять, то, видя, что вы в рассуждениях основываетесь не на его идеях, а на своих собственных, он будет считать все сказанное вами пригодным для вашего, а не его возраста; он перестанет вам верить — и тогда все погибло. Но где тот наставник, который согласится стать в тупик и сознаться в своей вине перед учеником? Все считают своею обязанностью не сознаваться даже в том, в чем виноваты. Что же касается меня, то моим правилом будет сознаваться даже в том, в чем я неповинен, если мне невозможно будет привести доводов, доступных пониманию ребенка; таким образом, поведение мое, всегда ясное на его взгляд, никогда не будет для него подозрительным, и, предполагая в себе ошибки, я сохраню для себя больше влияния, нежели другие, скрывающие свои ошибки.

Прежде всего, вы должны хорошо помнить, что лишь в редких случаях вашею задачей будет указывать, что он должен изучать: это его дело — желать, искать, находить; ваше дело — сделать учение доступным для него, искусно зародить в нем это желание и дать ему средства удовлетворить его. Отсюда следует, что вопросы ваши должны быть не многочисленными, но строго выбранными; а так как ему приходится чаще обращаться к вам с вопросами, чем вам к нему, то вы всегда будете более обеспечены и чаще будете иметь возможность сказать ему: «А на что тебе нужно знать то, о чем ты спрашиваешь меня?»

Далее, так как важно не то, чтоб он учился тому или иному, а то, чтоб он хорошо понимал, чему учиться и на что это ему нужно, то, как скоро вы не можете дать пригодного для него разъяснения по поводу сказанного вами, не давайте лучше никакого. Скажите ему без зазрения совести: «Я не могу дать тебе удовлетворительного

ответа: я ошибся. Оставим это». Если наставление ваше было действительно неуместным, то не беда отказаться от него совсем; если же нет, то при небольшом старании вы скоро найдете случай сделать заметною для ребенка полезность этого наставления.

Я не люблю голословных объяснений; молодые люди мало обращают на них внимания и почти не помнят их. Предметного, предметного! Я не перестану повторять, что мы слишком много значения придаем словам; своим болтливym воспитанием мы создаем лишь болтунов.

Предположим, что в то время, как я изучаю со своим воспитанником течение солнца и способ ориентироваться, он вдруг прерывает меня вопросом: к чему все это нужно? С какою прекрасною речью я обращаюсь к нему! Сколько вещей я могу преподать ему при этом случае — отвечая на его вопрос, особенно если кто-либо будет свидетелем нашей беседы! *

Я буду говорить ему о пользе путешествий, о выгодах торговли, о произведениях, свойственных каждому климату, о нравах различных народов, об употреблении календаря, о важности для земледельца вычислений продолжительности времен года, об искусстве мореплавания, о способе находить направление среди моря и точно следовать своему пути, не зная, где находишься. Политика, естественная история, астрономия, даже мораль и международное право войдут в мое объяснение, чтобы дать моему воспитаннику высокое понятие о всех этих науках и внушить сильное желание изучить их. Когда я выскажу все, у меня будет настоящая выставка педанта, из которой ребенок не усвоит ни одной мысли. У него, как и прежде, будет большая охота спросить у меня, для чего нужно умение ориентироваться, но он не посмеет — из опасения рассердить меня. Он найдет более выгодным притворяться, что понимает все то, что принудили его выслушать. Вот как ведется образцовое воспитание.

Но наш Эмил, которого воспитывают более грубо и в которого мы с таким трудом влагаем туго воспринимаемую понятливость, совершенно не станет слушать всего этого. После первого же непонятого ему слова он убежит, начнет резвиться по комнате и оставит разглагольствовать меня одного. Поищем решения более грубого: мой научный аппарат никуда для него не годится.

Мы наблюдали местоположение леса к северу от Монморанси⁷, когда он перебил меня своим докучливым вопросом: на что это нуж-

* Я часто замечал, что при ученых наставлениях, которые дают детям, заботятся не столько о том, чтобы дети слушали, сколько о том, чтобы их слышали присутствующие взрослые. Я хорошо уверен в том, что говорю, ибо я сделал это наблюдение над самим собою.

но? «Ты прав, — сказал я ему, — подумаем об этом на досуге; и если найдем, что это занятие ни на что не пригодно, не станем за него и браться; ведь у нас немало и полезных развлечений». Мы переходим к другому делу, а о географии во весь день не заводим уже и речи.

На другой день утром я предлагаю ему прогуляться до завтрака; он идет с величайшей охотой: бегать дети всегда готовы, а у этого проворные ноги. Мы забираемся в лес, проходим дуга, путаемся и уже не знаем, где находимся; когда приходится идти домой, не можем найти дороги. Время идет, становится жарко; мы голодны; мы торопимся, блуждаем попусту из стороны в сторону; кругом видим только рощи, каменоломни, равнины — и ни одной приметы для распознавания местности! Изнемогая от жары, совершенно усталые и голодные, мы, чем больше бегаем, тем больше запутываемся. Наконец, мы садимся, чтоб отдохнуть и обсудить положение. Эмиль — если предположить, что он воспитан, как и всякий другой ребенок, — не рассуждает, а плачет, он не знает, что мы у самых ворот Монморанси и что только лесок скрывает его от нас; но этот перелесок для Эмиля — целый лес: человек его роста может схорониться в кустах.

После нескольких минут молчания я говорю ему с беспокойным видом: «Как же нам быть, дорогой Эмиль? как выйти отсюда?»

Э м и л ь *(весь в поту и горько плачет)*

Я ничего не знаю. Я устал; мне хочется есть, пить; я не могу дальше идти.

Ж а н - Ж а к

А я разве в лучшем положении? Неужели, думаешь, я пожалел бы слез, — если бы можно было ими завтракать? Не плакать следует: нужно распознать местность. Посмотри на свои часы: который час?

Э м и л ь

Уже полдень, а я ничего не ел...

Ж а н - Ж а к

Правда... уже полдень, и я ничего не ел.

Э м и л ь

О, как вы, должно быть, голодны!

Ж а н - Ж а к

Беда в том, что обед не придет сюда ко мне. Теперь полдень — как раз тот час, в который мы вчера наблюдали из Монморанси поло-

жение леса. Вот если бы мы могли точно так же и из лесу наблюдать положение Монморанси!..

Э м и л ь

Да... но вчера мы видели лес, а отсюда города не видно.

Ж а н - Ж а к

В том-то и беда... Вот если бы мы могли, не видя города, найти его положение!..

Э м и л ь

Милый мой!..

Ж а н - Ж а к

Мы, кажется, говорили, что лес находится...

Э м и л ь

К северу от Монморанси.

Ж а н - Ж а к

Следовательно, Монморанси должно быть...

Э м и л ь

К югу от леса.

Ж а н - Ж а к

У нас есть средство отыскать север в полдень.

Э м и л ь

Да, по направлению тени.

Ж а н - Ж а н

А юг?

Э м и л ь

Как тут быть?

Ж а н - Ж а к

Юг противоположен северу.

Э м и л ь

Это верно... стоит только поискать направление, противоположное тени. Ах, вот юг, здесь юг! Наверное, Монморанси в этой стороне; пойдем в эту сторону.

Ж а н - Ж а к

Ты, может быть, прав; пойдем по этой тропинке через лес.

Э м и л ь (*хлопает в ладоши и радостно вскрикивает*)

Ах, я вижу Монморанси! Вот оно прямо перед нами, совсем на виду! Идем завтракать, обедать, бежим скорей! Астрономия на что-нибудь да годится.

Заметьте, что если он и не скажет этой последней фразы, то все-таки подумает об этом: нужды нет, лишь бы не я ее сказал. Во всяком случае будьте уверены, что он всю жизнь не забудет урока этого дня, меж тем как, если бы я ограничился тем, что преподнес бы ему все это в его же комнате, речь моя на другой день была бы забыта. Нужно высказываться, насколько можно, в действиях, а словами говорить лишь то, чего не умеем сделать.

Читатель, конечно, не предполагает, что я такого низкого мнения о нем, что стану приводить примеры на каждый вид занятий; но о чем бы ни шла речь, я всеми силами должен убеждать воспитателя — хорошо соразмерять свои доводы со способностью воспитанника; ибо — повторяю еще раз — беда не в том, что он не понимает, а в том, что он считает себя понимающим.

Помню, как я раз, желая внушить ребенку охоту к занятиям химией и показавши ему несколько примеров осаждения металлов, объяснял, как делаются чернила. Я говорил ему, что их чернота происходит единственно от сильно разъединенного железа, выделенного из купороса и осажденного щелочною жидкостью. Среди моих ученых объяснений маленький плутишка поставил меня в тупик тем именно вопросом, которому я сам его научил: я оказался в большом затруднении.

Поразмыслив несколько, я придумал средство: я велел принести вина из погреба хозяина дома и другого вина в восемь су от виноторговца, налил в небольшой флакон раствора нелетучей щелочи; затем, поставив перед собою в двух стаканах эти два сорта вина *, сказал ему следующее:

«Многие съестные припасы подделывают, чтоб они казались лучшими, чем бывают в действительности. Эти подделки обманывают глаз и вкус; но они вредны, и подделанная вещь, при всей своей красивой наружности, становится худшею, чем была прежде.

Подделывают преимущественно напитки, и особенно вина, пото-

* При каждом объяснении, которое хотят предложить ребенку, небольшие приготовления, предшествующие объяснению, много содействуют возбуждению его внимания.

му что здесь обман труднее узнать и он приносит больше выгоды обманщику.

Подделка вин неустоявшихся или кислых производится с помощью глета; глет есть препарат свинца. Свинец в соединении с кислотами дает очень сладкую соль, которая ослабляет на вкус кислоту вина, но бывает ядом для тех, кто пьет такое вино. Значит, прежде чем пить подозрительное вино, важно знать, подмешан в нем глет или нет. А чтобы открыть это, я рассуждаю так.

Вино содержит не только воспламеняемый спирт, как это ты видел в водке, которую из него выгоняют, — оно содержит еще кислоту, как это ты можешь узнать по уксусу и винному камню, которые тоже из него извлекаются.

Кислота имеет сродство с металлическими веществами и соединяется с ними путем растворения, так что образуется сложная соль, — такая, например, как ржавчина, которая есть не что иное, как железо, растворенное кислотой, содержащейся в воздухе или в воде, или такая, как медянка-ярь, которая есть не что иное, как медь, растворенная в уксусе.

Но эта же самая кислота имеет еще больше сродства со щелочными веществами, чем с металлическими, так что вследствие вступления первых в сложные соли, о которых я только что говорил тебе, кислота принуждена оставить металл, с которым была соединена, и соединиться со щелочью.

Тогда металлическое вещество, освободившись от кислоты, державшей его в растворенном состоянии, осаживается и делает жидкость мутною.

Если, значит, в одно из этих вин подмешан глет, то кислота его держит глет в растворенном состоянии. Если я подолью в него щелочной жидкости, она принудит кислоту освободиться от глета и соединиться с нею самой; свинец, не удерживаемый уже в растворе, снова проявится, взмутит жидкость и, наконец, осядет на дно стакана.

Если в вине нет ни свинца, ни другого металла *, то щелочь спо-

* Вина, продаваемые в розницу у парижских виноторговцев, хотя не всегда подмешаны глетом, но редко свободны от свинца, потому что прилавки этих торговцев отделаны этим металлом и вино, разливающееся из мерки, протекая по этому свинцу и оставаясь на нем, всегда растворяет в себе некоторую часть его. Странно, что злоупотребление, столь очевидное и опасное, терпится полицией. Впрочем, ведь зажиточные люди, не пьющие почти этих вин, мало подвергаются опасности быть ими отравленными.

койно * соединится с кислотою, все останется растворенным, и не произойдет никакого осаждения».

Затем я последовательно налил щелочной жидкости в оба стакана; домашнее вино осталось светлым и прозрачным, а покупное вино в один момент взмутилось, и через час ясно можно было видеть свинец, осевший на дно стакана.

«Вот, — прибавил я, — натуральное и чистое вино, которое можно пить, а вот вино поддельное, которое отравляет. Это открывается с помощью тех самых сведений, о полезности которых ты меня спрашивал: кто знает хорошо, как делаются чернила, тот умеет распознавать и подмешанные вина».

Я был очень доволен своим примером и, однако ж, заметил, что ребенка он не поразил. Только спустя некоторое время я понял, что сделал глупость; ибо, не говоря уже о невозможности для двенадцатилетнего ребенка проследить мое объяснение, полезность этого опыта ускользнула из его ума, потому что, отведав того и другого вина и найдя оба их вкусными, он не мог соединять никакой идеи со словом «подделка», которое, думалось мне, я так хорошо разъяснил ему. А слова «нездорово», «отрава» не имели для него никакого даже смысла; он был тут в таком же положении, как рассказчик о враче Филиппе: это положение всякого ребенка.

Отношение следствий к причинам, между которыми мы не замечаем связи, блага и бедствия, о которых не имеем понятия, потребности, которых никогда не испытывали, — все это не существует для нас: невозможно заинтересовать нас этими вещами в выполнении чего-нибудь, к ним относящегося. В пятнадцать лет смотришь такими же глазами на счастье быть умным человеком, какими в тридцать — на блаженство рая. Кто хорошо не представляет себе того и другого, тот не особенно станет добиваться этих вещей; а если даже представляет, этого мало: нужно желать их, нужно чувствовать потребность в них. Легко доказать ребенку полезность того, чему хотят его научить; но это доказывание не имеет никакого значения, если не умеют его убедить. Тщетно спокойный разум заставлял нас одобрять или порицать: одна лишь страсть заставлял нас действовать; а как пристраститься к интересам, которых не имеешь еще?

Не указывайте ребенку ничего такого, чего он не мог бы видеть. Пока человечество еще чуждо ему, не будучи в состоянии возвысить его до положения взрослого, низводите для него взрослого до поло-

* Растительная кислота очень умеренна. Если бы это была минеральная кислота, и притом менее разжиженная, то соединение не обошлось бы без вскипания.

жения ребенка. Помышляя о том, что может быть полезным для него в другом возрасте, говорите ему лишь о том, пользу чего он видит в настоящий момент. Впрочем, избегайте сравнений с другими детьми: не нужно соперников, не надо конкурентов — даже в беге, — коль скоро ребенок начинает рассуждать; по моему мнению, во сто раз лучше не учиться вовсе, чем учиться из-за одной зависти или тщеславия. Я буду только ежегодно отмечать сделанные им успехи, я буду сравнивать их с успехами последующего года и скажу ему: «Ты подрос на столько-то линий: вот какую канаву ты перепрыгивал; вот какую тяжесть ты мог поднять; вот на какое расстояние — мог бросать камень; вот какой конец — пробежал без остановки» и т. д. «Посмотрим, что ты сумеешь теперь». Таким образом, я поощряю, не возбуждая ни к кому зависти. Он захочет превзойти самого себя и должен это сделать; я не вижу никакой в том беды, что он соревнуется с самим собою.

Я ненавижу книги: они лишь учат говорить о том, чего не знаешь. Рассказывают, что Гермес вырезал элементы наук на колоннах с целью обезопасить свои открытия на случай потопа⁸. Если б он получше запечатлел их в голове людей, они остались бы там целыми, передаваясь из рода в род. Мозг, хорошо подготовленный, — это монумент, на котором надежнее всего запечатлеваются человеческие познания.

Нет ли средства сблизить всю массу уроков, рассеянных в стольких книгах, свести их к одной общей цели, которую легко было бы видеть, интересно проследить и которая могла бы служить стимулом даже для этого возраста? Если можно изобрести положение, при котором все естественные потребности человека обнаруживались бы ощутительным для детского ума способом и средства удовлетворить эти самые потребности развивались бы постепенно, с одной и тою же легкостью, то живая и простодушная картина этого положения должна служить первым предметом упражнения для воображения ребенка.

Пылкий философ, я уже вижу, как зажигается твое собственное воображение. Не трудись понапрасну: положение это найдено, оно описано и — не в обиду будь сказано — гораздо лучше, чем описал бы ты сам, по крайней мере с бóльшим правдоподобием и простотой. Если уж нам непременно нужны книги, то существует книга, которая содержит, по моему мнению, самый удачный трактат о естественном воспитании. Эта книга будет первою, которую прочтет Эмиль; она одна будет долго составлять всю его библиотеку и навсегда займет в ней почетное место. Она будет текстом, для которого все наши беседы по естественным наукам будут служить лишь комментарием. При нашем движении вперед она будет мерилom нашего суждения;

и пока не испортится наш вкус, чтение этой книги всегда нам будет нравиться. Что же это за чудесная книга? Не Аристотель ли, не Плиний⁹ ли, не Бюффон ли? — Нет: это «Робинзон Крузо»¹⁰.

Робинзон Крузо на своем острове — один, лишенный помощи себе подобных и всякого рода орудий, обеспечивающий, однако, себе пропитание и самосохранение и достигающий даже некоторого благосостояния — вот предмет, интересный для всякого возраста, предмет, который тысячью способов можно сделать занимательным для детей. Вот каким путем мы осуществляем необитаемый остров, который служил мне сначала для сравнения. Конечно, человек в этом положении не есть член общества; вероятно, не таково будет и положение Эмиля; но все-таки по этому именно положению он должен оценивать и все другие. Самый верный способ возвыситься над предвзвешиваниями и сообразоваться в своих суждениях с истинными отношениями вещей — это поставить себя на место человека изолированного и судить о всем так, как должен судить этот человек, — сам о своей собственной пользе.

Роман этот, освобожденный от всяких пустяков, начинающийся с кораблекрушения Робинзона возле его острова и оканчивающийся прибытием корабля, который возьмет его оттуда, будет для Эмиля одновременно и развлечением, и наставлением в ту пору, о которой идет здесь речь. Я хочу, чтобы у него голова пошла кругом от этого, чтоб он беспрестанно занимался своим замком, козами, плантациями; чтоб он изучил в подробности — не по книгам, а на самих вещах — все то, что нужно знать в подобном случае; чтоб он сам считал себя Робинзоном, чтобы представил себя одетым в шкуры, с большим колпаком на голове, с большою саблей, во всем его странном наряде, исключая зонтика, в котором он не будет нуждаться. Я хочу, чтоб он задавался вопросами, какие принимать меры в случае недостатка того или иного предмета, чтоб он внимательно проследил поведение своего героя, искал, не опустил ли тот чего, нельзя ли было сделать что-нибудь лучше, чтоб он старательно отметил его ошибки и воспользовался ими, чтобы при случае самому не делать подобных промахов; ибо будьте уверены, что он и сам захочет осуществить подобного рода поселок; это настоящий воздушный замок для того счастливого возраста, когда не знают иного счастья, кроме обладания необходимым и свободы.

Каким обильным источником является это увлечение для человека ловкого, который для того только и зарождает это увлечение в ребенке, чтобы извлечь из него пользу! Ребенок, торопясь устроить склад вещей на своем острове, проявит больше страсти к учению, чем учитель к преподаванию. Он захочет знать все, что полезно для

этого, и притом — только полезно: вам не нужно будет руководить им, придется лишь сдерживать его. Впрочем, поспешим поселить его на этот остров, пока он ограничивает этим свои мечты о счастье; ибо близок день, когда если он захочет на нем жить, то жить не один, когда его ненадолго удовлетворит и Пятница, на которого он теперь не обращает внимания.

Занятие естественными искусствами, которым человек может отдаваться и в одиночку, ведет к открытию искусств промышленных, для которых требуется уже совместная работа многих рук. Первыми могут заниматься отшельники, дикари; но вторые могут явиться лишь среди общества и делают последнее необходимым. Пока известны лишь физические потребности, каждый человек удовлетворяет самого себя; с появлением избытка делается неизбежным раздел и распределение труда; ибо, хотя один человек, работающий в одиночку, зарабатывает пропитание не более как на одного человека, сто человек, работающих сообща, сработают уже столько, что этого хватит на пропитание двухсот человек. Таким образом, коль скоро часть людей отдыхает, совместная деятельность работающих должна возместить собою праздность тех, которые ничего не делают.

Вашей главной заботой должно быть устранение от ума вашего воспитанника всех понятий об общественных отношениях, недоступных для его разума; но когда неразрывная связь знаний вынуждает вас показать ему взаимную зависимость между людьми, то вместо того, чтобы показывать ее с моральной стороны, обратите сначала все его внимание в сторону промышленности и механических искусств, которые делают людей полезными друг для друга. Водя его из мастерской в мастерскую, никогда не допускайте его ограничиваться одним наблюдением, без приложения своих рук к делу; пусть он выходит не раньше, чем узнает в совершенстве основы всякого производства или, по крайней мере, всего, что наблюдал. А для этого работайте сами, давайте всюду пример: чтобы сделать его мастером, будьте всюду подмастерьем и принимайте в расчет, что за час работы он выучит больше того, что запомнил бы после целого дня объяснений.

Общественная оценка различного рода искусств находится в обратном отношении к их действительной пользе. Эта оценка в прямом отношении с их бесполезностью; так и должно быть. Самые полезные искусства — это те, которые менее всего оплачиваются, потому что число работников соразмеряется с потребностями людей, а работа, потребная для всех, неизбежно стоит в той цене, какую может платить бедняк. Напротив, те высокоумные люди, которых зовут не ремесленниками, а артистами, работая единственно на праздных и бо-

гатых, назначают своим безделушкам цену произвольную, а так как все достоинство этих вздорных работ заключается в людском мнении о них, то самая стоимость их составляет уже часть этого достоинства, и ценят их соразмерно тому, что за них заплачено. Богач дорожит ими не из-за пользы, а из-за того, что бедняк не может за них заплатить. *Nolo habere bona nisi quibus populus inviderit* * 11.

Что станет с вашими воспитанниками, если вы даете им возможность усвоить этот глупый предрассудок, если вы сами благоприствуете ему, если они видят, например, что в мастерскую золотых дел мастера вы входите с бóльшим почтением, чем в мастерскую слесаря? Какое суждение составит у них об истинном достоинстве искусств и о настоящей стоимости вещей, если они увидят, что цены, установленные прихотью, всюду находятся в противоречии с ценою, вытекающею из действительной полезности, что, чем дороже ценится вещь, тем меньше она стоит? С той же минуты, как вы дадите забраться в голову этим идеям, бросьте все остальное воспитание: против вашей воли, они окажутся воспитанными, как и все прочие; четырнадцать лет забот пропали у вас даром.

Эмиль, заботясь о снабжении всем нужным своего острова, будет иначе смотреть на вещи. Робинзон гораздо более дорожил бы лавкою торговца скобяными товарами, чем всеми безделками Саида. Первый показался бы ему очень почтенным человеком, а второй — мелким шарлатаном.

«Мой сын создан для того, чтобы жить в свете; он не с мудрецами будет жить, а с безумцами; нужно, следовательно, чтоб он знал их безумия, потому что они хотят быть руководимыми именно с помощью этого безумия. Действительное знание вещей, быть может, хорошо, но знакомство с людьми и их суждениями еще лучше: в человеческом обществе важнейшее орудие человека — это сам человек, и самый мудрый тот, кто лучше всего пользуется этим орудием. К чему детям давать понятие о воображаемом порядке, совершенно противном тому, который они найдут установившимся и с которым им придется сообразоваться? Научите их прежде всего быть мудрыми, а потом вы научите их и судить о том, в чем состоит безумство других».

Вот на каких обманчивых правилах основывается ложное благоразумие отцов, стремящееся сделать детей рабами предрассудков, которыми их питают, и игрушкой той самой безрассудной толпы, из которой думают сделать орудие их страстей. Чтобы познать человека, сколько вещей нужно знать еще раньше этого! Человек — последний предмет изучения для мудреца, а вы имеете претензию сде-

* Петрон[ий, Сатирикон, гл. 100.]

лать его первым предметом обучения для ребенка! Прежде чем просветить его относительно наших чувствований, научите его оценивать эти чувствования. Разве это значит узнавать безумие, если мы его принимаем за разум? Чтобы быть мудрым, нужно различать, что не мудро. Как ребенок ваш узнает людей, если он не умеет ни судить о их суждениях, ни разбираться в их заблуждениях? Беда — знать, что они думают, когда не знаешь, истинны или ложны их мысли. Научите же прежде всего тому, что такое вещи сами по себе, а после этого вы укажете, чем они представляются нашим глазам: таким путем он научится сопоставлять людское мнение с истиной и возвышаться над чернью; ибо тот не знает, что такое предрассудки, кто усваивает их; тот не будет руководить толпой, кто похож на нее. Но если вы начинаете с того, что знакомите его с людским мнением, не научивши оценивать это мнение, то будьте уверены, что, несмотря на все ваши усилия, оно станет и его собственным мнением и вы уже не искорените его. Таким образом, выходит, что если хотят сделать молодого человека рассудительным, то нужно хорошо развить в нем способность судить, вместо того чтобы диктовать ему наши собственные суждения.

Вы видите, что до сих пор я не говорил еще о людях с моим воспитанником; у него слишком много здравого смысла, чтобы слушать меня; его сношения со своими ближними не настолько еще ощутимы для него, чтоб он мог судить по самому себе о других. Он не знает иного человеческого существа, кроме самого себя, и даже очень еще далек от познания самого себя; но если у него мало суждений о своей личности, то по крайней мере суждения эти все правильны. Он не ведает, какое место занимают другие, но зато понимает свое место и умеет на нем держаться. Вместо законов социальных, которых он не может знать, мы опутали его цепями необходимости. Он пока еще не более как существо физическое — станем же обходиться с ним, как с таковым.

Все тела природы и все людские труды он должен оценивать по их видимому отношению к его собственной пользе, безопасности, самосохранению, благосостоянию. Таким образом, железо в его глазах должно быть гораздо ценнее золота, стекло ценнее алмаза; точно так же он больше почитает сапожника, каменщика, чем Ламперера, Леблана и всех ювелиров Европы; особенно пирожник — очень важный человек в его глазах, и он всю Академию наук променял бы на самого незначительного колдitera с улицы Ломбар. Золотых дел мастера, резчики, позолотчики, золотошвей, по его мнению, просто лентяи, которые забавляются совершенно бесполезными игрушками; он даже не особенно ценит и часовое мастерство. Счастливый ребенок

наслаждается временем и не бывает его рабом; он им пользуется и не знает цены его. Безмятежность страстей, благодаря которой ход времени ему кажется всегда ровным, заменяет у него инструмент для измерения, при случае, времени *. Предполагая, что он имеет часы или заставляя его плакать, я представлял себе заурядного Эмиля — только для того, чтобы дать полезный и понятный пример; что же касается настоящего Эмиля, то ребенок, столь мало похожий на других, не мог бы ни в чем быть примером.

Есть и другой порядок, не менее естественный и даже более разумный: искусства можно рассматривать по отношению к их взаимной необходимости друг для друга, ставя в первом ряду наиболее независимые и в последнем те, которые зависят от большого числа других. Этот порядок, ведущий к важным соображениям относительно порядка общественного, похож на предыдущий и подвергается таким же нарушениям при людской оценке искусств, так что обработкой сырых материалов заняты ремесла самые непочетные и почти безвыгодные и, чем больше материал переходит из рук в руки, тем ценнее и почетнее делается работа. Я не рассматриваю, действительно ли искусство, дающее последнюю форму этому материалу, требует большего мастерства и заслуживает большего вознаграждения, чем первоначальная обработка, делающая его годным для людского употребления; но я говорю, что в каждом случае искусство, применение которого наиболее распространено и наиболее необходимо, заслуживает, неоспоримо, и наибольшего уважения и что то искусство, для которого менее необходимы другие искусства, более достойно почитания, чем искусства совершенно подчиненные, потому что оно свободнее и ближе к независимости. Вот настоящие правила для оценки искусств и промышленности; все остальное произвольно и зависит от людского мнения.

Первым и наиболее почтенным из всех искусств является земледелие; на втором месте я поставил бы кузнечное искусство, на третьем — плотничье и т. д. Ребенок, не обольщенный еще обычными предрассудками, будет судить точно так же. Сколько важных размышлений по этому поводу извлечет наш Эмиль из своего «Робинзона». Что подумает он, видя, что искусства совершенствуются не иначе, как подразделяясь и умножая до бесконечности число своих орудий? Он скажет себе: «Какая глупая страсть у людей к изобретательности! Подумаешь, что они боятся, как бы не пригодились им на что-

* Время теряет для нас всякую меру, когда им хотят управлять наши страсти, по своему собственному произволу. Часами мудреца бывает ровность его настроения и спокойствие души: у него всегда удобный час, и он всегда его знает.

нибудь руки и пальцы, — столько придумывают они орудий, чтоб обходиться без рук. Чтобы заниматься одним каким-нибудь искусством, они подчинили себе тысячи других; целый город нужен для каждого работника. Что же касается меня и моего товарища, то наш гений заключается в нашей ловкости; мы приготавливаем себе такие орудия, которые можно было бы всюду носить с собою. Все эти люди, столь гордые своими талантами в Париже, ничего не умели бы делать на нашем острове, и им пришлось бы у нас же учиться ремеслу».

Читатель, не ограничивай здесь своих наблюдений одним телесным упражнением, одною ловкостью рук нашего воспитанника; но рассмотри, какое мы даем направление детской любознательности; прими во внимание смекалку, дух изобретательности, предусмотрительность; посмотри, какую рассудительность хотим мы развить в нем. Во всем, что он увидит, во всем, что станет делать, он захочет узнать все, он захочет дойти до корня; он ничего не станет допускать в виде предположения и откажется учиться тому, что требует предварительных познаний, которых у него нет еще; если он увидит, как делают пружину, ему захочется знать, как извлекли из рудника железо; если он увидит, как собирают составные части сундука, ему захочется знать, как было срублено дерево; если он работает сам, по поводу каждого орудия, которым пользуется, он не преминет спросить себя: «Если бы у меня не было этого орудия, как мне следовало бы поступить, чтобы приготовить подобное орудие или обойтись без него?»

При занятиях, которым наставник предается со страстью, трудно избежать ложного предположения, что и ребенок всегда питает к ним такую же охоту; поэтому, когда вы увлекаетесь работой, берегитесь, чтобы ребенок не скучал тем временем, не смея выказать вам своей скуки. Он должен быть поглощен предметом; но и вы должны быть поглощены ребенком, должны неустанно и незаметно для него наблюдать, высматривать, заранее предчувствовать все его чувства, предупреждать те, которых он не должен иметь, — словом, так занимать его, чтоб он не только сознавал себя полезным в работе, но и находил в ней удовольствие вследствие ясного понимания того, для какой цели служит его работа.

Общение искусств состоит в обмене изобретательности, общение торговли — в обмене вещей, общение банков — в обмене знаков и денег; все эти идеи взаимно сплетаются, а элементарные понятия уже получены нами: мы положили фундамент для всего этого еще в первом возрасте — с помощью садовника Робера. Теперь нам остается лишь обобщить эти идеи, распространить их на большее число при-

меров, чтобы дать ребенку понять, что такое торговое движение само по себе, наглядно пояснив это подробностями из естественной истории о произведениях, свойственных каждой стране, подробностями из искусств и наук, относящихся к мореплаванию, и, наконец, указанием на большую или меньшую затруднительность провоза, смотря по отдаленности местностей, по положению стран, морей, рек и т. д.

Никакое общение не может существовать без обмена, никакой обмен — без общей меры, никакая общая мера — без равенства. Таким образом, первым законом для всякого общения является какое-нибудь условное равенство — между людьми или между вещами.

Необходимым результатом условного равенства между людьми, которое далеко отличается от равенства естественного, является положительное право, т. е. управление и законы. Политические познания ребенка должны быть ясны и ограничены: об управлении вообще он должен узнать лишь то, что относится к праву собственности, о котором он уже имеет некоторое понятие.

Условное равенство между вещами повело к изобретению монеты; ибо монета есть не что иное, как сравнительное выражение для стоимости разного рода вещей; в этом смысле монета является истинною связью общества; но монетой может быть все: некогда ею был скот, у многих народов и теперь еще монетой служат раковины; железо было монетой в Спарте, кожа — в Швеции, золото и серебро служат монетой у нас.

Металлы, как предметы более удобные для перенесения, были, говоря вообще, избраны в качестве посредствующего звена при всех обменах; металлы эти превратили в монету, чтобы не прибегать при каждом обмене к измерению или взвешиванию; ибо знак на монете есть не что иное, как свидетельство, что монета, таким образом помеченная, имеет такой-то вес; и государь один имеет право чеканить монету, потому что он один имеет право требовать, чтобы его свидетельство имело силу закона у всего народа.

Польза этого изобретения после таких объяснений делается очевидной даже для самого тупого человека. Трудно сравнивать непосредственно вещи, различные по природе, — сукно, например, с хлебом; но когда найдена общая мера, т. е. монета, то фабриканту и земледельцу легко перевести стоимость вещей, которыми они хотят обменяться, на эту общую меру. Если такое-то количество хлеба стоит такой-то суммы денег и такое-то количество хлеба стоит той же суммы денег, то отсюда следует, что купец, получая этот хлеб за свое сукно, производит правильную мену. Таким образом, с помощью монеты вещи различных видов делаются соизмеримыми и могут взаимно сравниваться.

Не распространяйтесь дальше этого и не входите в объяснение моральных последствий этого учреждения. Во всякой вещи, прежде чем указывать злоупотребления, важно хорошо выяснить пользу. Если бы вы вздумали объяснять детям, как знаки ведут к пренебрежению вещами, как деньгами порождаются все химеры людского мнения, как страны, богатые деньгами, должны быть бедны во всем остальном, то, значит, вы с детьми обращались бы не только как с философами, но и как с мудрецами, и имели бы претензию сделать для них понятным то, чего хорошо не постигли даже многие философы.

На какую массу интересных предметов можно таким образом направить любознательность ребенка, не выходя ни разу из среды отношений действительных и материальных, доступных его пониманию, и не допуская возникнуть в его уме ни одной идее, которой он не мог бы постичь! Искусство наставника состоит в том, чтобы не направлять его наблюдательности на мелочи, ни с чем не связанные, но постоянно приближать его к основным отношениям, с которыми он должен со временем ознакомиться, чтобы приобрести правильное суждение о хорошем и дурном строе гражданского общества. Нужно уметь приспособлять беседы, которыми занимаешь его, к тому складу ума, который ему даден. Иной вопрос, который не мог бы даже слегка затронуть внимания другого, промучит Эмиля чуть не полгода.

Мы отправляемся обедать в богатый дом; мы видим приготовления к пиру, массу людей, толпу лакеев, множество блюд, изящную и тонкую сервировку. Во всей этой веселой и праздничной обстановке есть что-то опьяняющее, так что с непривычки кружится голова. Я предчувствую, какое действие произведет все это на моего воспитанника. В продолжение обеда, в то время как блюда следуют одно за другим и вокруг стола раздается тысяча шумных речей, я нагибаюсь к его уху и говорю ему: «А как ты думаешь, через сколько рук прошло все, что ты видишь на этом столе, прежде чем попасть сюда?» Какую толпу идей я пробуждаю в его мозгу этими немногими словами! Момент — и все опьянение восторга исчезло. Он задумывается, размышляет, высчитывает, беспокоится. В то время как философы, развеселенные винами, а быть может, и своими соседками, несут вздор и ведут себя, как дети, он философствует — один в своем углу; он расспрашивает меня, я отказываюсь отвечать, откладываю до другого раза; он теряет терпение, забывает про еду и питье и горит желанием выйти из-за стола, чтобы переговорить со мною на свободе. Какая задача для его любознательности! Какой материал для его поучения! При своем здравом суждении, которого ничто не могло

еще омрачить, что подумает он о роскоши, когда найдет, что все страны мира обложены были данью, что двадцать миллионов рук, быть может, долго трудились и тысячи людей поплатились, быть может, жизнью — и все для того, чтобы пышно представить ему в полдень то, что вечером он оставит в другом месте.

Подмечайте старательно те тайные выводы, которые он извлекает в своем сердце из всех этих наблюдений. Если вы не так тщательно оберегали его, как я предполагаю, у него может явиться искушение направить свои размышления в другую сторону и вообразить себя важной в свете персоной — при виде того, скольких хлопот стоит приготовление «его» обеда. Если вы предчувствуете это рассуждение, то легко можете предупредить его, прежде чем оно зародится, или по крайней мере тотчас же сгладить связанное с ним впечатление. Не умея еще присваивать себе вещи иным путем, кроме материального обладания, он судит о том, предназначены они для него или нет, исключительно по чувственно воспринимаемым отношениям. Сравнения простого деревенского обеда, подготовленного упражнениями, приправленного голодом, свободою, весельем, с этим столь великолепным и столь чопорным пиршеством будет достаточно, чтобы дать ему понять, что, так как весь этот блеск пира не принес ему никакой действительной выгоды, так как из-за стола крестьянина он выходит с таким же удовлетворенным желудком, как и из-за стола банкира, то, значит, ни у того, ни у другого не было ничего такого, что он мог бы назвать поистине «своим».

Представим, что в подобном случае мог бы сказать ему воспитатель. «Припомни получше оба эти обеда и реши сам, за которым ты испытывал больше удовольствия, за которым ты подметил больше веселья? где ели с большим аппетитом, пили веселее, смеялись от всей души? который тянулся дольше без скуки и не нуждаясь в возобновлении с помощью других блюд? Однако ж смотри, какая разница: этот черный хлеб, который ты находишь столь вкусным, происходит из зерна, собранного этим же крестьянином; его мутное и кислое, хотя освежающее и здоровое вино добыто из собственного виноградника; столовое белье сделано из пеньки, выпряденной его же женой, дочерьми и работницей; ничьи другие руки, кроме рук его семьи, не готовляли приправ для его стола; ближайшая мельница и соседний рынок — для него границы Вселенной. В чем же заключалось твое действительное пользование всем тем, что, сверх этого, доставили на тот стол отдаленные страны и человеческие руки? Если, несмотря на все это, ты обедал не лучше, то что же ты выиграл при этом изобилии? что там было такого, что можно было бы считать приготовленным для тебя?» «Если бы ты был хозяином дома, — может

он прибавить, — то все это осталось бы для тебя еще более чуждым; ибо забота выставить на глаза других еще обладание окончательно лишила бы тебя наслаждения, соединенного с обладанием: тебе бы достался труд, а им удовольствие».

Эта речь может быть очень прекрасной; но она совсем негодна для Эмиля, которому она непонятна и которому никто не подсказывает его размышлений. С ним говорите проще. После этих двух опытов скажите ему как-нибудь утром: «Где сегодня нам обедать? среди той горы серебра, которая покрывала три четверти стола, среди цветников из бумажных цветов, которые подаются на зеркальном стекле за десертом, среди тех женщин в больших фижмах, которые обращаются с тобой, как с куклой, и хотят, чтобы ты говорил им, чего не знаешь, или лучше в той деревне, в двух милях отсюда, у тех добрых людей, которые так радостно принимают нас и дают нам таких хороших сливок?» Выбор Эмиля не подлежит сомнению; ибо он не болтлив и не тщеславен; он не может выносить стеснений, и все наши тонкие приправы ему не нравятся; но он всегда готов бегать в деревне и очень любит хорошие фрукты, хорошие овощи, хорошие сливки и хороших людей *. По дороге мысль приходит сама собой: я вижу, что эти толпы людей, работая на эти пышные обеды, теряют все плоды трудов своих или что они вовсе не думают о наших удовольствиях.

Мои примеры, пригодные, быть может, для одного субъекта, окажутся негодными для тысячи других. Кто усвоит их дух, тот хорошо сумеет, в случае нужды, разнообразить их: выбор зависит от изучения природных свойств каждого ребенка, а это изучение зависит от предоставляемой им возможности обнаружить себя. Нельзя предполагать, что в течение 3—4 лет, которые находятся теперь в нашем распоряжении, мы могли бы ребенку, хотя бы и счастливо одаренному природой, дать понятие о всех искусствах и всех естественных науках — понятие, достаточное для того, чтобы со временем он мог изучать их сам; но, проводя, таким образом, перед его глазами все

* Вкус к деревне, которую я предполагаю в своем воспитаннике, есть естественный результат его воспитания. К тому же, не отличаясь тем фатовским и щегольским видом, который так нравится женщинам, он не встречает у них такого внимания к себе, как другие дети; следовательно, он меньше находит удовольствия в том, чтобы быть с ними, и меньше портится в их обществе, не будучи еще в состоянии почувствовать прелесть его. Я остерегался учить его целовать у них руки, говорить им пошлости, даже оказывать им предпочтительнее перед мужчинами должное уважение: я поставил себе за ненарушимый закон ничего не требовать от него такого, основание чего было бы выше его понимания, а для ребенка нет справедливого основания обходиться с одним полом иначе, чем с другим.

предметы, которые ему важно узнать, мы даем ему возможность развивать свой вкус, свой талант, делать первые шаги к тому предмету, куда влекут его природные способности, и указывать нам путь, который нужно пролагать для него с целью содействовать природе.

Другим преимуществом этого сцепления знаний — ограниченных, но точных — является возможность показать их в связи, во взаимных отношениях, дать каждому из них надлежащее место в его оценке и предупредить в нем появление предрассудков, настраивающих большинство людей в пользу тех талантов, которые они развивают в себе, и против тех, которыми пренебрегли. Кто ясно видит порядок целого, тот видит, какое место должна занимать и каждая часть; кто хорошо видит часть и знает ее основательно, тот может быть человеком ученым; но тот, первый, есть человек рассудительный, а вы помните, что мы ставим себе целью приобрести не столько знание, сколько способность суждения.

Как бы то ни было, моя метода не зависит от моих примеров: она основана на измерении способностей человека в его различные возрасты и на подборе занятий, соответственных его способностям. Я верю, что легко найти и другую методу, которая может показаться лучшей; но если она будет менее приноровлена к видовым особенностям, к возрасту, полу, сомневаюсь, чтоб она имела такой же успех.

Вступая в этот второй период, мы воспользовались избытком своих сил над потребностями, чтобы выйти из своих пределов; мы устремлялись на небеса, измеряли землю, отыскивали законы природы, — одним словом, мы исходили целый остров; теперь мы возвращаемся домой, незаметно приближаемся к своему жилищу. Какое счастье, что, входя, мы находим его еще не во власти врага, который угрожает нам и готовится им овладеть!

Что остается нам делать после того, как мы осмотрели все окружающее? Остается обратить в свою пользу все, что можем присвоить себе, и воспользоваться своею любознательностью в видах своего благосостояния. Доселе мы запасались всякого вида орудиями, не зная, которые из них нам понадобятся. Наши орудия, бесполезные для нас, быть может, пригодятся другим; а может быть, и нам, в свою очередь, понадобятся чужие орудия. Таким образом, мы все выиграем от этой мены; но, чтобы произвести ее, нужно знать свои взаимные нужды, нужно, чтобы каждый знал, что имеют другие для его употребления и что он может предложить им взамен. Предположим, что живут десять человек и у каждого десять видов различных потребностей. Приходится каждому ради своих нужд заниматься десятю видами работ; но благодаря разнице в природных способностях и таланте один меньше успеет в одной из этих работ, другой —

в другой. Все, будучи способными на различные вещи, будут делать одно и то же, и дело пойдет у них плохо. Образует общество из этих десяти человек, и пусть каждый займется, для самого себя и для девяти остальных, тем родом деятельности, который лучше всего ему подходит; каждый будет пользоваться талантами других, как будто он один обладал ими всеми; каждый непрерывным упражнением будет совершенствовать свой собственный талант, и в результате выйдет, что все десятеро, вполне снабженные всем нужным, будут иметь еще избыток для других. Вот очевидная основа всех наших учреждений. Исследование последствий этого не касается моего сюжета: я занялся этим в другом сочинении *¹².

В силу этого принципа человек, который желал бы смотреть на себя как на существо изолированное, ни от чего не зависящее и удовлетворяющее само себя, неизменно был бы существом несчастным. Ему даже невозможно было бы существовать; находя всю землю покрытою «твоим» и «моим» и не имея ничего своего, кроме тела, откуда он возьмет средства для существования? Выходя из естественного состояния, мы этим самым принуждаем и ближних своих к тому же; никто не может пребывать в нем наперекор другим; желать оставаться в нем, при невозможности это сделать, — это все равно, что выйти из него; ибо первый закон природы — это закон самосохранения.

Таким-то образом мало-помалу образуются в уме ребенка идеи об общественных отношениях, даже прежде, чем он мог бы действительно стать активным членом общества. Эмиль видит, что если он хочет иметь орудия для своего употребления, то он должен иметь орудия и для употребления других, чтобы в обмен на них получить предметы, необходимые ему и находящиеся во власти других. Мне легко довести его до сознания необходимости такой мены и дать ему случай воспользоваться ею.

«Ваше превосходительство, ведь нужно же жить!» — говорил один несчастный сатирик министру ¹³, ставившему ему в упрек бесчестность его ремесла. — «Я не вижу в этом необходимости», — холодно возразил ему сановник. Ответ этот, превосходный для министра, был бы варварским и ложным во всяких других устах. Всякому человеку нужно жить. Аргумент этот, которому каждый придает больше или меньше силы, смотря по степени своего человеколюбия, кажется мне неоспоримым для того, кто приводит его по отношению к самому себе. Так как из всех отвращений, внушаемых нам природой, самое сильное — это отвращение к смерти, то отсюда следует, что природа все позволяет человеку, если у него нет никакого другого способа

* Речь о происхождении неравенства.

жить. Принципы, в силу которых добродетельный человек научается презирать свою жизнь и приносить ее в жертву долгу, очень далеки от этой первобытной простоты. Счастливы народы, среди которых можно быть добрым без усилия и справедливым без добродетели! Если же существует в мире бедственное положение, когда никто не может жить без зла и когда граждане по необходимости бывают плутами, то не злодея нужно вешать, а того, кто принуждает его стать таким.

Как скоро Эмиль узнает, что такое жизнь, моею первою заботой будет научить его, как сохранять ее. До сих пор я не различал званий, рангов, состояний; я не стану различать их и впоследствии, потому что человек один и тот же во всех званиях, потому что у богача желудок не больше, чем у бедного, и не лучше переваривает, потому что у господина руки не длиннее и не сильнее, чем у его раба, потому что вельможа не больше ростом, чем простолудин, и, наконец, потому что раз естественные потребности всюду одни и те же, то и средства удовлетворять их должны быть везде одинаковы. Приспособляйте воспитание человека к человеку, а не к тому, чем он не бывает. Неужели вы не видите, что, стараясь образовать его исключительно для одного звания, вы делаете его негодным для всякого другого и что, если судьбе угодно, все ваши труды кончатся тем, что он станет несчастным? Что смешнее обнищавшего вельможи, остающегося и в нищете своей с предрассудками своего рождения? Что может быть презреннее обедневшего богача, который, помня, с каким презрением относятся к бедности, чувствует себя самым последним из людей. Одному остается только ремесло общественного плута, другому — ремесло лакея, пресмыкающегося со своими прекрасными словами: «Ведь нужно же жить».

Вы полагаетесь на существующий строй общества, не помышляя о том, что этот строй подвержен неизбежным переворотам и что вам невозможно ни предвидеть, ни предупредить того строя, который могут увидеть ваши дети. Вельможа делается ничтожным, богач — бедняком, монарх — подданным; разве удары судьбы столь редки, что вы можете рассчитывать избежать их? Мы приближаемся к эпохе кризиса, к веку революций *. Кто может ручаться вам за то, чем вы тогда станете? Все, что люди создали, люди могут и разрушить; неизгладимы лишь те черты, которые запечатлевает природа, а при-

* Я считаю невозможным, чтобы великие европейские монархии просуществовали долго: все они имели блестящее прошлое, а всякое государство, полное блеска, клонится к упадку. Мнение мое опирается на доводы более подробные, чем это правило; но теперь нестати о них говорить, да они и слишком очевидны для каждого.

рода не создает ни принцев, ни богачей, ни вельмож. Что же станет делать в ничтожестве этот сатрап, которого воспитали вы для величия? Что будет делать в бедности этот ростовщик, который умеет жить только золотом? Что будет делать, лишившись всего, этот пышный глупец, не умеющий пользоваться самим собою, видящий свое существование в том, что ему совершенно чуждо? Счастлив тот, кто умеет в этом случае расстаться с положением, которое его покидает, и остаться человеком назло своему жребию! Пусть хвалят, сколько угодно, того побежденного короля, который, как бешеный, хочет похоронить себя под обломками своего трона; что касается меня, я презираю его, — я вижу, что все его существование основано на одной его короне и что, когда он не король, он — ничто; но кто теряет корону и умеет обойтись без нее, тот становится выше ее. Из королевского сана, носить который может, не хуже другого, и трусливый, и злой, и безумный человек, он возвышается до звания человека, носить которое умеют лишь немногие люди. В этом случае он торжествует над судьбой и презирает ее; он всем обязан лишь самому себе, и, когда ему ничего другого не остается, как наказать себя, он не оказывается ничтожеством — он кое-что значит. Да, мне в сто раз милее царь Сиракуз в качестве учителя в коринфской школе ¹⁴ или македонский царь, ставший в Риме писцом ¹⁵, чем жалкий Тарквиний ¹⁶, не знающий, что делать с собой, когда перестал быть царем, чем наследник обладателя трех королевств ¹⁷, являющийся игрушкой для всякого, кто дерзает издеваться над его нищетой, блуждающий от двора к двору, ища всюду помощи и находя всюду оскорбления, потому что не научился ничему другому, кроме того ремесла, которое уже не в его руках.

Человек и гражданин, кто бы он ни был, не может предложить обществу иного имущества, кроме самого себя; все остальное его имущество уже принадлежит обществу, помимо воли его; и когда человек богат, то или он не пользуется богатством, или вместе с ним пользуется и публика. В первом случае он крадет у других то, чего лишает себя самого; во втором случае ничего не жертвует другим. Таким образом, общественный долг целиком остается на нем, пока он выплачивает его только своим добром. «Но мой отец, наживая его, служил обществу...» Пусть так: он уплатил свой долг, но не ваш. Вы больше должны другим, чем в том случае, если бы вы родились без состояния, потому что вы родились в благоприятных условиях. Несправедливо было бы, если бы сделанное для общества одним человеком освобождало другого от его собственного долга; ибо каждый, будучи сам весь в долгу, может платить лишь за себя самого, и ни один отец не может передать своему сыну права быть бесполезным

для своих ближних; а между тем он это именно и делает, передавая сыну, как вы предлагаете, свои богатства, которые служат доказательством и наградой труда. Кто в праздности проедает то, чего сам не заработал, тот ворует это последнее, и рантье, которому государство платит за то, что он ничего не делает, в моих глазах почти не отличается от разбойника, живущего за счет прохожих. Вне общества, человек изолированный, никому ничем не обязанный, имеет право жить как ему угодно; но в обществе, где он живет по необходимости за счет других, он обязан уплатить трудом цену своего содержания; это правило без исключений. Труд, значит, есть неизбежная обязанность для человека, живущего в обществе. Всякий праздный гражданин — богатый или бедный, сильный или слабый — есть плут.

А из всех занятий, которые могут доставить человеку средство к существованию, ручной труд больше всего приближает его к естественному состоянию; из всех званий самое независимое от судьбы и людей — это звание ремесленника. Ремесленник зависит только от своего труда; он свободен — настолько же свободен, насколько земледelec есть раб, ибо последний зависит от своего поля, сборами с которого может овладеть другой. Неприятель, государь, сильный сосед, проигранная тяжба могут лишить его этого поля; с помощью этого поля его можно притеснять на тысячу ладов; но как только захотят притеснить ремесленника, он сейчас же готов в путь-дорогу: руки — при нем, и он уходит. Несмотря на то, земледелие есть первое ремесло человека: оно самое честное, самое полезное и, следовательно, самое благородное из всех, какими только может он заниматься. Я не твержу Эмилю: «Учись земледелию», — он уже знаком с ним. Все полевые работы ему хорошо известны: с них именно он и начал, к ним же постоянно и возвращается. Итак, я говорю ему: «Возделывай наследие отцов твоих». Но если ты потеряешь это наследие или у тебя нет его, тогда что делать? Учись ремеслу.

«Ремесло — моему сыну! сын мой — ремесленник! Сударь, подумали ли вы об этом?..» Я думал больше вас, сударыня: вы хотите довести его до того, чтобы он мог быть не чем иным, как лордом, маркизом, князем, а со временем, быть может, меньше, чем нулем; что же касается меня, я хочу наделить его рангом, которого он не может потерять, — рангом, который делал бы честь ему во все времена, — я хочу возвысить его до звания человека, и, что бы там вы ни говорили, у него в этом случае будет меньше равных по титулу, чем при тех титулах, которыми вы его наделите.

Буква убивает, дух оживляет. Дело не столько в том, чтобы научить ремеслу ради самого знания ремесла, сколько в том, чтобы победить предрассудки, выражающиеся в презрении к нему. Вам ни-

когда не придется зарабатывать себе на пропитание. Ну, что ж? Тем хуже, тем хуже для вас! Но все равно: работайте по необходимости — работайте ради славы. Снизойдите до звания ремесленника, чтобы стать выше вашего звания. Чтобы подчинить себе эту судьбу и вещи, начните с того, чтобы стать независимым от них. Чтобы царствовать путем мнения, воцаритесь сначала над этим мнением.

Помните, что не таланта я требую от вас, а ремесла — настоящего ремесла, искусства, чисто механического, при котором руки работают больше головы, которое не ведет к богатству, но дает возможность обойтись без него. Я видел, как в домах, обитатели которых были далеки от всяких забот о насущном хлебе, отцы простирали свою предусмотрительность до того, что заботились не только дать детям образование, но и снабдить их такими познаниями, с помощью которых они могли бы, при случае, добыть себе средства к жизни. Эти дальновидные отцы воображают, что делают нечто важное; но этим не сделано ничего, потому что ресурсы, которыми они думают снабдить своих детей, зависят от той самой судьбы, выше которой они хотят их поставить. Таким образом, при всех своих прекрасных талантах, если обладатель их не встречает обстоятельств благоприятных для того, чтобы пустить их в дело, он погибнет от нищеты, как и в том случае, если бы не имел ни одного из них.

Если уж толковать об уловках и происках, то лучше употреблять их на поддержание своего изобилия, нежели на изыскание средств подняться из нищеты до своего первоначального состояния. Если вы занимаетесь искусствами, при которых успех зависит от известности художника, если вы подготавливаете себя к должностям, добиться которых можно лишь благодаря милости, то к чему послужит вам все это в тот момент, когда, справедливо почувствовав отвращение к свету, вы погнушаетесь теми средствами, без которых нельзя иметь в нем успех? Вы изучили политику и интересы государей — все это очень хорошо; но что вы сделаете со своими познаниями, если вы не умеете пробираться к министрам, к придворным дамам, к правителям канцелярий, если вы не владеете секретом нравиться им, если все не видят в вас подходящего для них плута? Вы архитектор или живописец — пусть так! Но нужно ваш талант сделать известным. Уж не думаете ли вы ни с того ни с сего выставить произведение свое в салоне? Да, как бы не так! Нужно быть академиком; нужно чье-нибудь покровительство даже для того, чтобы получить в углу у стены какое-нибудь темное местечко. Бросьте-ка линейку и кисть, возьмите наемный фиакр и мчитесь от дома к дому — вот как приобретают известность. А между тем вы должны знать, что у этих снательных дверей встретите швейцаров и привратников, которые умеют пони-

мать только по жестам и слышать только тогда, когда попадает что-нибудь в руки. Вы хотите учить тому, чему вас учили, стать учителем географии, математики или языков, музыки или рисования — для этого нужно найти учеников, а следовательно, и лиц, которые всюду рекомендовали бы вас. Будьте уверены, что важнее быть шарлатаном, чем искусным человеком, и что если вы знаете одно свое ремесло, то всегда будете лишь невеждою.

Смотрите же, как непрочны все эти блистательные ресурсы и сколько нужно вам других условий, чтобы извлечь из первых пользу. И потом, чем сами вы станете в этом позорном унижении? Неудача, ничему не научившая, принижает вас. Будучи более чем когда-либо игрушкой людского мнения, как возвыситесь вы над предрассудками, этими решителями вашей судьбы? Как станете презирать низость и пороки, которые потребны вам для существования? Вы зависели только от богатства, а теперь вы зависите от богатых; вы только и сделали, что ухудшили свое рабство, увеличив тяжесть его своей нищетой. Теперь вы бедны и не свободны: это — худшее положение, в какое только может попасть человек.

Но если, вместо того чтобы прибегать для добывания средств к этим высоким знаниям, созданным для того, чтобы питать душу, а не тело, вы обращаетесь, в случае нужды, за помощью к рукам своим и даете им, какое умеете, употребление, то все трудности исчезают, все уловки становятся бесполезными; средство у вас всегда готово, когда приходит момент употребить его; честность, честь не служат уже препятствием в жизни; вам нет нужды быть подлым или лжецом перед вельможами, изворотливым и раболепным перед плутами, низким угодником всего света, быть должником или вором, что почти одно и то же, когда ничего не имеешь; вас не тревожит мнение других; вам незачем ездить на поклоны, не приходится льстить глупцу, умилять швейцара, платить куртизанке или, что еще хуже, воскурять ей фимиам. Пусть плуты ведут великие дела, — вас это мало касается: это не помешает вам быть, в вашей невзрачной жизни, честным человеком и иметь кусок хлеба. Вы входите в первую мастерскую, где занимаются знакомым вам ремеслом. «Мастер, мне нужна работа». — «Садись, товарищ, — вот тебе работа». Не пришел еще час обеда, а вы уже заработали себе обед; если вы прилежны и воздержаны, то до истечения недели уже заработаете себе пропитание на следующую неделю: вы останетесь свободным, здоровым, правдивым, трудолюбивым, справедливым. Выигрывать подобным образом время не значит терять его.

Я решительно хочу, чтоб Эмиль обучался ремеслу. «Честному, по крайней мере, ремеслу», — скажете вы. Что значит это слово?

Разве не всякое ремесло, полезное для общества, честно? Я не хочу, чтоб он был золотошвеем, или позолотчиком, или лакировщиком, как дворянин у Локка; я не хочу, чтоб он был музыкантом, комедиантом, сочинителем книг *. За исключением этих и других, им подобных профессий, пусть он выбирает, какую хочет: я не намерен ни в чем стеснять его. Я предпочитаю, чтоб он был башмачником, а не поэтом, чтоб он мостил большие дороги, а не делал из фарфора цветы. Но, скажете вы, полицейские стражи, шпионы, палачи тоже полезные люди. От правительства зависит устроить, чтоб они не были полезными. Но оставим это... я был не прав: недостаточно выбрать полезное ремесло — нужно еще, чтоб оно не требовало от людей, им занимающихся, гнусных и несовместимых с человечностью свойств души. Итак, вернемся к первому слову — возьмемся за ремесло «честное»; но будем всегда помнить, что, где честность, там и полезность.

Один знаменитый писатель нашего века ¹⁸, книги которого изобилуют великими проектами и узкими взглядами, дал обет, как и все священники того же исповедания, не иметь собственной жены; но, считая себя более совестливым, чем другие, в вопросе о прелюбодеянии, он, говорят, решил держать красивых служанок, с которыми, по мере сил, и заглаживал оскорбление, нанесенное им людскому роду этим необдуманном обязательством. Он считал обязанностью гражданина — давать отечеству других граждан и тою данью, которую платил в этом смысле отечеству, умножал класс ремесленников. Как только эти дети подрастали, он всех их обучал ремеслу, к которому они имели охоту, исключая профессии праздные, пустые или зависящие от моды, какова, например, профессия парикмахера, в которой нет никакой необходимости и которая со дня на день может стать бесполезною, пока природа не откажется наделять нас волосами.

Вот в каком духе мы должны выбирать ремесла для Эмиля, или, лучше сказать, не нам следует делать выбор, а ему самому: так как внушенные ему правила поддерживают в нем естественное презрение к вещам бесполезным, то он никогда не захочет тратить время на труды, не имеющие никакой ценности, а он не знает иной цены вещам, кроме их действительной полезности; ему нужно такое ремесло, которое могло бы пригодиться Робинзону на его острове.

Наглядно знакомя ребенка с произведениями природы и искуст-

* «Но ведь ты сам такой же сочинитель», — скажут мне. Да, к несчастью, — признаюсь; но вина моя, которая, думаю, достаточно уже искуплена, не должна служить для других поводом для подобных ошибок. Я пишу не для того, чтобы оправдать свои ошибки, но чтобы предохранить моих читателей от подражания мне.

ва, возбуждая его любознательность и следуя за ним, куда она влечет его, мы имеем возможность изучить его вкусы, наклоности, стремления и подметить первый проблеск его дарования, если у него действительно есть дарование. Но общее заблуждение, от которого нужно и вас предостеречь, заключается в том, что действительные случаи приписывают силе таланта и за определившуюся склонность к тому или иному искусству принимают дух подражания, общий человеку и обезьяне, побуждающий их обоих машинально проделывать действия, которые видят, — не зная хорошо, к чему это пригодно. Мир полон ремесленников и особенно артистов, не имеющих природной способности к тому искусству, которым занимаются и к которому родители привлекли их с малолетства, руководствуясь посторонними соображениями или будучи вовлечены в обман их видимым усердием, которое они проявили бы точно так же и ко всякому другому искусству, если бы встретились с ним раньше. Иной слышит бой барабана — и воображает себя генералом; другой видит, как строят, — и уж хочет быть архитектором. Всякого соблазняет ремесло, которым занимаются на его глазах, если только он считает его уважаемым.

Я знал одного лакея, который, видя, как пишет красками и рисует его господин, возмечтал быть живописцем и рисовальщиком. С той же минуты, как явилось у него это решение, он взялся за карандаш и если потом кинул его, то лишь для того, чтобы взяться за кисть, с которой не расстанется уже всю жизнь. Без уроков и без правил он принялся срисовывать все, что попадалось под руку. Целых три года провел он над своим маразмом, от которого, кроме службы, ничто не могло его оторвать, и никогда не падал духом, как ни малы были успехи при его посредственных способностях. Я видел, как он в течение шести месяцев очень жаркого лета, сидя перед глобусом, или, скорее, будучи прикован целыми днями к своему стулу, в маленькой, обращенной на юг передней, в которой задыхались, даже проходя через нее, срисовывал этот глобус, перерисовывал, непрерывно начинал и поправлял с непобедимым упорством, пока не нарисовал настолько хорошего шара, что остался доволен своей работой. Наконец, благодаря покровительству своего господина и советам одного художника он добился того, что снял ливрею и стал зарабатывать средства кистью. Настойчивость до известного предела восполняет талант: он дошел до этого предела и никогда уже его не перейдет. Постоянство и упорство этого честного малого похвальны. Он всегда сумеет приобрести уважение своею усидчивостью, верностью, нравственностью, но он рисовать будет — только вывески. Кого не ввело бы в обман его усердие, кто не принял бы его за настоящий талант? Большая разница — иметь охоту к работе и быть спо-

собным к ней. Нужна более тонкая, чем обыкновенно думают, наблюдательность для того, чтоб удостовериться в истинном даровании и истинной способности ребенка, который гораздо скорее выказывает желания свои, чем способности, и о котором всегда судят по первым, за неумением изучить вторые. Мне хотелось бы, чтобы какой-нибудь рассудительный человек дал нам трактат об искусстве наблюдать за детьми. Очень важно знакомство с этим искусством: отцы и наставники пока не знают даже элементов его.

Но, быть может, мы придаем здесь слишком большое значение выбору ремесла. Так как речь идет о ручном труде, то этот выбор для Эмиля — сущие пустяки, а выучка его наполовину уже закончена благодаря тем упражнениям, которыми мы доселе занимали его. Какое дело хотите дать ему? Он на все готов: он уже умеет владеть заступом и мотыгой, умеет пользоваться токарным станком, молотком, рубанком, пилой; ему уже хорошо знакомы инструменты всех ремесел. Остается лишь приобрести достаточную быстроту и легкость в употреблении какого-нибудь из этих инструментов, и он сравняется с хорошими рабочими, их употребляющими; а у него в этом отношении есть большое преимущество перед всеми: он имеет ловкое тело, гибкие члены, так что без труда может принимать всякого рода положения и без усилия производить всякого рода продолжительные движения. Кроме того, у него верные изощренные органы; ему уже знакома вся техника искусств. Чтоб уметь работать, как мастер своего дела, ему недостает только привычки, а привычка приобретается лишь временем. Какому же из ремесел, между которыми остается нам сделать выбор, посвятить столько времени, чтобы можно было приобрести в нем ловкость? Вот в чем весь вопрос.

Дайте мужчине ремесло, приличное его полу, а юноше — ремесло, приличное его возрасту; всякая профессия, сопряженная с сидячей жизнью в комнате, изнеживающая и расслабляющая тело, ему не нравится и не годится. Никогда мальчик сам не пожелает быть портным; нужно искусство, чтобы засадить за это женское ремесло пол, который не создан для него *. Иглой и шпагой не сумеют владеть одни и те же руки. Будь я государем, я дозволил бы швейное и портняжное ремесло только женщинам и хромым, которые принуждены заниматься тем же, чем и женщины. Если предположить, что евнухи необходимы, то я нахожу, что восточные народы очень глупо поступают, создавая их нарочно. Почему они не довольствуются теми, которых создала природа, — тою толпою вялых мужчин, кото-

* Портных у древних не было; одежда мужчин приготавливалась дома женщинами.

рым природа изуродовала сердце? Они имели бы в них избыток в случае нужды. Всякий слабый, нежный, робкий мужчина осужден на сидячую жизнь: он создан, чтобы жить с женщинами или на их лад. Пусть занимается одним из ремесел, свойственных им, — в добрый час! А если уж непременно нужны настоящие евнухи, пусть определяют в это звание людей, которые позорят свой пол, принимая на себя обязанности для них неприличные. Их выбор указывает на ошибку природы; исправьте эту ошибку тем или иным способом — и вы поступите хорошо.

Я запрещаю своему воспитаннику ремесла нездоровые, но не те, которые трудны или даже опасны. Эти ремесла упражняют одновременно и силу, и мужество; они годны для одних мужчин, женщины не претендуют на них; как же после этого не стыдно мужчинам захватывать ремесла женщин?

Luctantur paucæ, comedunt coliphia paucæ,

*Vos lanam trahitis, calathisque peracta refertis Vellera...** ¹⁹.

В Италии не видно женщин за прилавками, и нельзя ничего представить печальнее вида улиц этой страны для того, кто привык к улицам Франции и Англии. Видя галантерейных торговцев, продающих дамам ленты, помпоны, сетки, синель, я находил эти нежные уборы очень смешными в грубых руках, созданных для того, чтобы раздувать горн и бить по наковальне. Я говорил себе: «В этой стране женщинам следовало бы, в отместку, завести оружейные мастерские и оружейные лавки». Нет, пусть каждый производит и продает оружие своего пола. Чтобы быть знакомым с ним, нужно иметь с ним дело.

Молодой человек, обнаружь в своей работе руку мужчины! Учись сильною рукой владеть топором и пилой, научись обтесывать бревно, взбираться на кровлю, прилаживать конек, укреплять его стропилами и перекладинами; затем кликни твою сестру помогать тебе в работе, как она звала тебя работать по канве.

Слишком многого требую я от своих любезных современников — я чувствую это, но меня невольно иной раз увлекает сила доводов. Если какой-нибудь человек стыдится работать на виду у всех, вооружившись скобелем и подпоясавшись кожаным фартуком, я вижу в нем лишь раба людского мнения, готового краснеть за хорошие поступки, коль скоро кто станет смеяться над честными людьми. Впрочем, уступим предрассудкам отцов во всем, что не может повредить рассудку детей. Чтобы почитать все полезные профессии, для этого нет нужды всеми ими заниматься; достаточно, если ни одну из них

* *Juven[alis]. Sat[irae], [II, § 3].*

мы не станем ставить ниже себя. Когда можно выбирать, когда, кроме того, ничто не предрешает нашего выбора, то почему же нам при выборе профессий одного и того же достоинства не сообразоваться с приятностью, склонностями, удобствами? Обработка металлов полезна и даже полезнее всех ремесел; однако же, если меня не побудит особая причина, я не заставлю вашего сына подковывать лошадей, делать замки, работать у горна; мне не хотелось бы видеть его в кузнице, в образе циклопа. Точно так же я не сделаю из него каменщика, а еще менее — башмачника. Необходимо, чтобы существовали все ремесла; но кто может делать выбор, тот должен обратить внимание на опрятность; ибо здесь людское мнение уже ни при чем: здесь выбор наш решается чувством. Наконец, мне не нравятся те нелепые профессии, в которых рабочие, не проявляя никакой изобретательности, почти как автоматы, упражняют свои руки вечно одной и тою же работой; возьмем ткачей, чулочников, пильщиков камня — к чему на эти ремесла употреблять людей со смыслом? Тут машина водит другую машину.

Если хорошо обсудить все, то я скорее всего желал бы, чтобы моему воспитаннику пришлось по вкусу ремесло столяра. Оно опрятно, полезно; им можно заниматься дома; оно достаточно упражняет тело, требует от работника ловкости и изобретательности, и хотя форма произведений здесь определяется полезностью, но последняя не исключает изящества и вкуса.

Если же случится, что природные способности вашего воспитанника будут решительно направлены к наукам умозрительным, в таком случае я ничего не имел бы против того, чтобы дать ему ремесло, сообразное с его склонностями; пусть он учится, например, делать математические инструменты, очки, телескопы и пр.

Когда Эмиль будет учиться ремеслу, я думаю учиться вместе с ним, ибо я убежден, что он лишь тому хорошо научится, что мы будем изучать вместе. Итак, мы оба поступим в ученье и будем требовать, чтобы с нами обходились не как с господами, а как с настоящими учениками, не в шутку принявшими эту роль; почему бы нам не быть ими и взаправду? Царь Петр был плотником на верфи и барабанщиком в своих собственных войсках: уж не думаете ли вы, что этот государь был ниже вас по рождению или заслугам? Вы понимаете, что я говорю это не Эмилю, а именно вам, кто бы вы там ни были.

К несчастью, мы не можем проводить все свое время за верстаком. Мы не для того поступили в ученье, чтобы стать рабочими, а для того, чтобы стать людьми; обучение же этому последнему ремеслу труднее и продолжительнее всякого другого. Как же нам быть? неужели брать столярного мастера на час в день, как берут учителя танцев?

Нет, в таком случае мы были бы не ремесленными учениками, но школьниками; а наша честолюбивая цель состоит не столько в том, чтобы научиться столярному ремеслу, сколько в том, чтобы поднять себя до звания столяра. Поэтому я держусь того мнения, что нам следовало бы раз или два, по крайней мере, в неделю проводить у мастера целый день — вставать в один с ним час, прежде него приниматься за работу, за его же столом есть, работать по его указаниям и, поужинав с его семьей, если он окажет нам такую честь, возвращаться, если хотим, спать на наши жесткие постели. Вот каким образом изучают сразу несколько ремесел, вот как приучают к работе руки, не пренебрегая в то же время и другим учением.

Будем просты в своих хороших поступках. Постараемся не породить тщеславия своими заботами побороть его. Гордиться победой над предрассудками — значит подчиняться им. Говорят, что, по старинному обычаю оттоманского дома, султан обязан заниматься ручными работами; а каждый знает, что произведения царственных рук не могут быть ничем иным, как образцами искусства. И вот он торжественно раздает эти образцы искусства вельможам Порты; а за работу платят сообразно званию работавшего. Если я вижу здесь зло, то не в этом мнимом вымогательстве: оно, напротив, служит ко благу. Принуждая вельмож делить с ним награбленное у народа, государь тем меньше будет непосредственно грабить народ. Это необходимое облегчение при деспотизме; без него не могло бы и существовать это ужасное правление.

Истинное зло здесь заключается в том понятии о собственном достоинстве, которое внушается подобным обычаем этому бедному человеку. Как царь Мидас ²⁰, он видит, что все, до чего он ни коснется, превращается в золото, но не замечает, какие вследствие этого растут у него уши. Чтобы сохранить уши Эмиля короткими, предохраним руки его от этого богатого таланта; пусть цена того, что он делает, зависит не от работника, а от самого произведения. Пусть судят о его работе не иначе, как по сравнению с работой хороших мастеров. Пусть его работа оценивается по самой работе, а не по тому, что она его. О том, что хорошо сделано, скажите: «вот хорошая работа!» Но не добавляйте: «а кто это делал?» Если он сам говорит с гордым и самодовольным видом: «это делал — я», — то прибавьте холодно: «Ты или кто другой — это все равно; а работа во всяком случае хороша».

Добрая мать, особенно остерегайся лжи, которую тебе готовят. Если сын твой знает много вещей, не верь ничему, что он знает; если он имеет несчастье быть воспитанным в Париже и быть богачом, он пропал. Пока там будут ловкие артисты, он будет иметь все

их таланты; но вдали от них он не будет уже иметь их. В Париже человек богатый знает все; невеждой там бывает только бедняк. Эта столица полна любителей и особенно любительниц, которые исполняют свои произведения не хуже того, как Гильом ²¹ изобрел свои цвета. Я знаю два-три почтенных исключения среди мужчин, — может быть, их и больше; но я не знаю ни одного между женщинами и сомневаюсь, чтобы они были. Вообще, в искусствах имя приобретается таким же образом, как и в судейском звании: художником и судьей художников можно сделаться — точно так же, как делаются доктором прав и судьей.

Таким образом, если бы раз было установлено, что знать ремесло — прекрасное дело, то дети ваши и, не учась, скоро бы научились ему: они выступали бы настоящими мастерами, как цюрихские советники. Для Эмиля вовсе не нужно этого церемониала. Ничего показного, и всегда — одна действительность! Пусть не толкуют о его знаниях — пусть он учится среди молчания. Пусть создает мастерское произведение и не слышит мастером; пусть выказывает себя работником не в титуле, а в работе своей.

Если до сих пор я говорил понятно, то читатель должен видеть, каким образом я вместе с привычкой к телесным упражнениям и ручной работе незаметно прививаю моему воспитаннику охоту к размышлению и обдумыванию, чтоб она служила противовесом лени, которая могла бы произойти от его равнодушия к людским суждениям и от безмятежности его страстей. Чтобы не быть таким лентяем, как дикарь, он должен работать, как крестьянин, и думать, как философ. Великая тайна воспитания заключается в умении так поставить дело, чтобы упражнения телесные и духовные всегда служили друг для друга отдохновением.

Но остережемся забежать вперед с наставлениями, требующими более зрелого ума. Когда Эмиль будет работником, он скоро и на самом себе почувствует неравенство состояний, которое сначала он наблюдал лишь стороной, судя по тем правилам, которые я внушаю ему и которые доступны его пониманию, он, в свою очередь, захочет испытать меня. Получая все от меня одного и видя себя столь недалеким от состояния бедняков, он захочет знать, почему я так далек от этого состояния. Быть может, он обратится врасплох ко мне с неудобными вопросами: «Вы богаты; вы мне говорили об этом, и я это вижу. Богач тоже обязан отдавать обществу свой труд; ведь и он человек. Но вы — что же делаете вы для общества?» Что сказал бы на это ваш хваленый воспитатель? Не знаю. Он, может быть, был бы настолько глуп, что стал бы говорить ребенку о заботах, которыми его окружают. Что же касается меня, то меня выручает из беды

мастерская: «Вот, милый Эмиль, превосходный вопрос! Я обещаю тебе ответить за себя, когда и ты, с своей стороны, дашь такой ответ, которым сам будешь доволен. А в ожидании этого я постараюсь пока отдавать свои излишки тебе и беднякам и делать по столу или скамье в неделю, чтобы не быть совершенно бесполезным».

Итак, мы возвратились теперь к самим себе. Теперь ребенок наш готов перестать быть ребенком: он вошел в свое я. Теперь он более чем когда-либо чувствует узы необходимости, связывающей его с вещами. Начав с упражнения его тела и чувств, мы перешли потом к упражнению ума и суждения. Наконец, мы соединили употребление членов с применением способностей; мы создали существо действующее и мыслящее; чтобы закончить человека, нам остается только создать существо любящее и чувствительное, т. е. с помощью чувствования усовершенствовать разум. Но прежде чем перейти к этому новому строю вещей, бросим взгляд на тот, который мы покидаем, и посмотрим, насколько можно точнее, до каких пределов мы дошли.

Сначала наш воспитанник имел лишь ощущения, теперь у него есть идеи; прежде он только воспринимал чувствами, теперь он судит. Ибо из сравнения нескольких последовательных или одновременных ощущений и из составляемого о них суждения рождается некоторого рода смешанное или сложное ощущение, которое я называю идеей.

Способ образования идей и придает особый характер человеческому уму. Ум, формирующий свои идеи только по действительным отношениям, есть ум основательный; кто видит отношения такими, каковы они на самом деле, у того верный ум; кто плохо их оценивает, у того ложный ум; кто выскивает отношения воображаемые, не соответствующие ни действительности, ни внешности, тот сумасшедший; кто не умеет вовсе сравнивать, тот слабоумный. От большей или меньшей способности сравнивать идеи и находить отношения и зависит в людях бóльшая или меньшая степень ума, и т. д.

Простые идеи суть не что иное, как сравниваемые ощущения. В простых ощущениях так же, как и в сложных ощущениях, есть уже суждения, которые я называю простыми идеями. В ощущении суждение является чисто пассивным: оно утверждает, что мы действительно чувствуем то, что чувствуем. В понятии, или идее, суждение активно: оно сближает, сравнивает, определяет отношения, не определенные чувством. Вот и вся разница, но она велика. Никогда не обманывает нас природа: всегда мы сами себя обманываем.

Я вижу, как восьмилетнему ребенку дают мороженое; он подносит ложку ко рту, не зная, что это такое, и, почувствовав холод, вскрикивает: «Ах, как это жжет!» Он испытывает очень сильное ощу-

щение; он не знает ощущения, более сильного, чем жар огня, и думает, что ощущает именно этот жар. Однако ж он заблуждается: испытываемый холод неприятно на него действует, но не жжет, и эти два ощущения не похожи, потому что, кто испытал то и другое, тот уже не смешивает их. Итак, его обманывает не ощущение, а суждение, которое он выносит из него.

То же самое бывает с тем, кто в первый раз видит зеркало или оптический прибор, кто спускается в глубокий погреб среди зимы или лета, кто опускает в теплую воду очень разгоряченную или очень холодную руку, кто катает между двумя скрещенными пальцами небольшой шарик и т. д. Если он довольствуется высказыванием того, что видит, что ощущает, то, раз суждение его носит характер чисто пассивный, невозможно, чтоб он ошибся: когда же он судит о вещи по внешности, его суждение уже активно: он сравнивает, устанавливает путем индукции отношения, которых не наблюдал; в этом случае он обманывается или может обманываться. Чтобы исправить или предупредить заблуждение, нужен опыт.

Покажите ночью вашему воспитаннику облака, бегущие между луною и ним, — он подумает, что это бежит луна в противоположном направлении, а что облака остановились. Он думает так благодаря поспешному неведению, потому что обыкновенно он видит, что малые предметы скорее приходят в движение, чем большие, и потому что облака ему кажутся большими, чем луна, об отдаленности которой он не может судить. Когда, сидя в плывущей лодке, он смотрит с некоторого расстояния на берег, то впадает в обратную ошибку и думает, что бежит земля, потому что, не чувствуя своего собственного движения, он смотрит на лодку, море или реку и на весь свой горизонт как на неподвижное целое, а берег, который он видит бегущим, кажется ему только частью этого целого.

Когда ребенок в первый раз видит палку, наполовину погруженную в воду, то он видит сломанную палку; ощущение здесь правдиво, и оно оставалось бы таким, если бы мы не знали причины этого явления. Если, значит, вы спрашиваете у него, что он видит, он говорит: «сломанную палку», — и говорит верно, потому что вполне убежден, что видит сломанную палку. Но когда, обманутый своим суждением, он идет дальше и, высказав утвердительно, что видит сломанную палку, утверждает, кроме того, что видимое им и есть действительно сломанная палка, тогда он говорит ложь. Почему это? Потому что тут он становится активным и судит уже не в силу наблюдения, но в силу индукции, утверждая то, чего не ощущает, а именно, что суждение, получаемое им путем одного чувства, будет подтверждено и другим чувством.

Так как все наши заблуждения происходят от наших суждений, то ясно, что, если бы нам не было нужды судить, мы не имели бы никакой нужды и учиться; нам никогда не представлялось бы случая обманываться, и мы были бы счастливее в своем невежестве, чем теперь при своем знании.

Кто станет отрицать, что ученые знают тысячу истинных вещей, которых невежды никогда не будут знать? Но ближе ли вследствие этого ученые к истине? Совершенно напротив: идя вперед, они удаляются от нее; так как тщеславное стремление судить еще быстрее подвигается вперед, чем их познания, то каждая истина, ими узнаваемая, является в сопровождении сотни ложных суждений. Совершенно очевидно, что европейские ученые общества суть не что иное, как публичные школы лжи; и в Академии наук, несомненно, больше бывает заблуждений, чем во всем племени гуронов ²².

Так как, чем больше люди знают, тем более обманываются, то единственным средством избежать заблуждения служит невежество. Не судите — и вы никогда не будете ошибаться. Это урок природы, равно как и разума. Вне среды непосредственных отношений между вещами и нами, очень немногих и очень ощутительных, мы от природы питаем глубокое равнодушие ко всему остальному. Дикарь не сделает шага, чтобы посмотреть на действие самой прекрасной машины и всех чудес электричества. «Какое мне дело?» — вот слова, самые обычные для невежды и самые приличные для мудреца.

Но, к несчастью, слова эти для нас уже не годятся. Нам до всего дело — с тех пор, как мы зависим от всего; и наша любознательность по необходимости расширяется вместе с нашими потребностями. Вот почему я наделяю философа очень большою любознательностью, а в дикаре не признаю ни малейшей. Последний ни в ком не имеет нужды, а тот нуждается во всех и особенно в поклонниках.

Мне скажут, что я отклоняюсь от природы: я не думаю этого. Она избирает свои орудия и направляет их сообразно не с людским мнением, а с потребностью. А потребности меняются, смотря по положению людей. Большая разница между естественным человеком, живущим в природном состоянии, и естественным человеком, живущим в общественном состоянии. Эмиль — не дикарь, которому предстоит удалиться в пустыню; он — дикарь, созданный для того, чтобы жить в городах. Нужно, чтоб он умел доставать там все необходимое, извлекать пользу из их обитателей и жить если не так, как они, то по крайней мере вместе с ними.

Так как среди такого множества новых отношений, от которых он станет в зависимость, ему поневоле придется иметь суждения, то научим его судить хорошо.

Наилучшим способом научиться судить хорошо является тот, который больше всего стремится упростить наши опыты и даже обходиться по возможности без них и при всем том не впадать в заблуждения. Отсюда следует, что после продолжительной проверки одного чувства другим можно еще научиться проверять каждое чувство с помощью его же самого, не прибегая к другому чувству; тогда каждое ощущение станет для нас идеей, и эта идея будет всегда соответствовать истине. Вот какого рода приобретениями пытался я наполнить этот третий период человеческой жизни.

Такой образ действий требует терпения и осмотрительности, на которую немногие учителя способны, но без которой ученик никогда не научится хорошо судить. Если, например, ребенок по внешнему виду ошибочно считает палку сломанною, а вы, чтоб указать ему ошибку, поспешите вытащить ее из воды, то вы, быть может, выведете его из заблуждения, — но чему вы научите его? Ничему, кроме того, что он скоро узнал бы и сам. Разве так нужно вести свое дело? Вопрос тут не в том, чтобы научить его истине, а в том, чтобы показать ему, как нужно браться за дело, чтобы всегда открывать истину. Чтобы лучше вразумить его, не следует скоро выводить его из заблуждения. Возьмем для примера нас с Эмилем.

Прежде всего, на второй из предполагаемых вопросов всякий ребенок, воспитанный по обычному шаблону, не преминет ответить утвердительно. «Разумеется, это сломанная палка», — скажет он. Я сильно сомневаюсь, чтобы Эмиль дал мне такой же ответ. Не видя необходимости быть ученым или казаться им, он никогда не торопится составить суждение: он судит лишь на основании очевидности; а в этом случае он далеко не находит ее, потому что знает, насколько обманчивы — хотя бы в области перспективы — наши суждения по наружному виду.

Кроме того, так как он по опыту знает, что мои вопросы, даже самые пустые, всегда имеют какую-нибудь цель, не сразу заметную, то у него нет привычки отвечать наобум; напротив, он остерегается, напрягает внимание, тщательно обсуждает их, прежде чем ответить. Он никогда не дает мне такого ответа, которым был бы сам недоволен, а ему угодить трудно. Наконец, ни он, ни я не имеем претензии на познание истины вещей, а только желаем не впадать в заблуждения. Нам было бы гораздо стыднее удовлетвориться причиной, которая окажется неосновательной, чем вовсе не найти никакой причины. «Я не знаю» ²³, — вот слова, которые так хорошо идут к нам обоим, которые мы так часто повторяем, что сказать их ничего не стоит ни тому, ни другому из нас. Не сорвется ли у него с языка необдуман-

ный ответ или он избегнет его посредством нашего удобного слова «не знаю», мой отзыв будет одинаков: «посмотрим, исследуем!»

Эта палка, опущенная до половины в воду, воткнута в перпендикулярном положении. Чтобы знать, сломана ли палка, как это кажется, нам предстоит еще многое сделать прежде, чем вынуть ее из воды или взять в руки.

1. Сначала мы обходим вокруг палки и видим, что излом вертится вместе с нами. Значит, это только глаз наш изменяет его вид, а взгляды не могут двигать тел.

2. Мы смотрим отвесно на тот конец палки, который вне воды: палка уже не изогнута; конец, ближайший к нашему глазу, ровно закрывает собою другой конец *. Неужели наш глаз выпрямил палку?

3. Мы возмущаем поверхность воды и видим, как палка складывается в несколько кусков, движется зигзагами и следует за волнением воды. Неужели, чтобы сломать, размягчить и расплавить подобным образом палку, достаточно того движения, которое сообщаем мы воде?

4. Мы выливаем воду — и видим, как палка мало-помалу выпрямляется, по мере понижения воды.

Неужели всего этого мало для выяснения факта и открытия преломления? Значит, неправда, будто зрение нас обманывает, так как мы ни в чем другом, кроме него, и не нуждаемся для исправления тех ошибок, которые ему приписываем.

Предположим, что ребенок настолько туп, что не понимает результата этих опытов; тогда на помощь зрению следует призвать осязание. Вместо того чтобы вынимать палку из воды, оставьте ее в том же положении, и пусть ребенок проведет рукою от одного конца до другого: он не почувствует угла; значит, палка не сломана.

Вы скажете мне, что здесь не только суждение, но и настоящее размышление. Правда; но разве вы не видите, что, коль скоро ум дошел до идей, всякое суждение есть размышление? Сознание всякого ощущения выражается предложением, суждением; значит, коль скоро мы сравниваем одно ощущение с другим, то мы размышляем. Искусство суждения и искусство размышления совершенно одинаковы.

Эмиль никогда не будет знать диоптрики²⁴, или пусть изучит ее около этой палки. Он не будет рассекать насекомых, не будет считать солнечных пятен; он не будет знать, что такое микроскоп и телескоп. Ваши ученые воспитанники будут смеяться над его невежеством.

* Впоследствии благодаря более точному опыту я нашел противное. Преломление действует кругообразно, и палка кажется более толстой с того конца, который в воде, нежели с другого; но это ничуть не изменяет силы рассуждения, и вывод получается не менее точный.

Они будут правы; ибо, прежде чем пользоваться этими инструментами, я хочу, чтоб он их изобрел, а вы догадываетесь, что это будет не скоро.

Вот сущность всей моей методы в этой области. Если ребенок катает маленький шарик между двумя скрещенными пальцами и ему кажется, что он ощущает два шарика, то я позволю ему посмотреть не прежде, чем он убедится, что шарик всего один.

Из этих объяснений, думаю, достаточно видно, какие успехи сделал до сих пор ум моего воспитанника и по какому пути он дошел до этих успехов. Но вас испугало, быть может, количество вещей, которые я ему показывал. Вы боитесь, не слишком ли я обременяю ум его этим множеством познаний. Напротив, я учу его скорее не знать всего этого, чем знать. Я показываю ему путь к знанию, — правда, легкий, но длинный, неизмеримый, медленно проходимый. Я заставляю его сделать первые шаги, чтобы он знал, как выйти на него, но я не позволю ему идти далеко.

Принужденный учиться сам по себе, он пользуется своим разумом, а не чужим; ибо, кто не хочет уступать людскому мнению, тот не должен уступать и авторитету; а большая часть наших заблуждений зарождается не в нас самих, но переходит к нам от других. Результатом этого постоянного упражнения должна быть сила ума, подобная той силе тела, которая приобретается трудом и усталостью. Другое преимущество в том, что мыдвигаемся вперед лишь соразмерно со своими силами. Дух, равно как и тело, выносит лишь то, что может выносить. Когда, прежде чем уложить знания в память, мы усваиваем их путем разума, то все, извлекаемое потом этим последним из памяти, принадлежит уже ему, меж тем как, обременяя память без ведома разума, мы рискуем никогда не извлечь из нее ничего такого, что принадлежало бы разумению.

У Эмиля мало познаний, но те, какие есть у него, являются истине его собственными; у него нет полужнаний. Среди небольшого числа вещей, которые он знает, и притом хорошо знает, самым важным является убеждение, что есть много такого, чего он не знает, и что со временем может знать, что еще больше таких вещей, которые знакомы другим людям, но которых он не будет знать во всю жизнь, что, наконец, есть бесконечное множество таких, которых ни один человек никогда не будет знать. У него ум всеобъемлющий, но не по сведениям, а по способности приобретать их — ум открытый, сметливый, готовый ко всему и, как говорит Монтень²⁵, если не просвещенный, то по крайней мере способный к просвещению. Для меня достаточно, чтобы он умел указать, «для чего это», во всем, что только делает, и доказать «почему» — во всем, чему только верит. Повторяю

еще раз: цель моя не знание дать ему, но научить его приобретать, в случае нужды, это знание, ценить его как раз во столько, сколько оно стоит, и любить истину выше всего. С этой методой мало подвигаются вперед, но зато не делают ни одного бесполезного шага и не бывают никогда вынужденными отступать назад.

Эмиль обладает знаниями лишь в сфере естественных и чисто физических наук. История ему незнакома даже по имени; он не знает, что такое метафизика и мораль. Он знает существенные отношения человека к вещам, но ему не знакомо ни одно из нравственных отношений человека к человеку. Он плохо умеет обобщать идеи, создавать отвлечения. Он видит общие свойства у известного рода тел, но не рассуждает, что такое эти свойства сами по себе. Он ознакомился с отвлеченным пространством — при помощи геометрических фигур, получил понятие об отвлеченной величине — с помощью алгебраических знаков. Эти фигуры и знаки и служат для этих отвлечений опорой, на которую полагаются его чувства. Он старается познать не природу вещей, а только те отношения их, которые его интересуют. Все чуждое себе он оценивает только по отношению к себе самому, но зато эта оценка точная и верная. Прихоть, условность не играют в ней никакой роли. Он более дорожит тем, что ему более полезно, и, никогда не удаляясь от этого способа оценки, ничего не уступает людскому мнению.

Эмиль трудолюбив, воздержан, терпелив, тверд, исполнен мужества. Воображение его, ничем не воспламененное, никогда не преувеличивает опасностей; немного бедствий, к которым он чувствителен; он умеет страдать с твердостью, потому что не приучен спорить с судьбою. Что касается смерти, он еще хорошо не знает, что это такое; но, привыкнув беспрекословно подчиняться закону необходимости, он умрет, когда придет смертный час, без стенаний и сопротивления, а больше этого ничего и не позволяет нам природа в этот момент, всеми ненавидимый. Жить свободно и мало прилепляться сердцем к делам человеческим есть лучшее средство научиться умирать.

Одним словом, у Эмиля по части добродетели есть все, что относится к нему самому. Чтоб иметь и социальные добродетели, ему недостает единственно знакомства с отношениями, требующими этих добродетелей; ему недостает единственно тех сведений, которые ум его вполне уже готов воспринять.

Он рассматривает самого себя без отношения к другим и находит приличным, чтобы и другие о нем не думали. Он ничего ни от кого не требует и себя считает ни перед кем и ничем не обязанным. Он одинок в человеческом обществе и рассчитывает только на самого себя. Он имеет право более всякого другого полагаться на самого себя,

ибо он достиг всего, чем можно быть в его возрасте. У него нет заблуждений, а если есть, то лишь те, которые для нас неизбежны; у него нет пороков, кроме тех, от которых ни один человек не может уберечься. Его тело здорово, члены гибки, ум точен и незнаком с предрассудками, сердце свободно и без страстей. Самолюбие, первая и самая естественная из всех страстей, едва еще в нем пробудилось. Не смущая ничьего покоя, он прожил довольным, счастливым и свободным, насколько позволяла природа. Неужели вы находите, что ребенок, достигший таким образом пятнадцатого года жизни, даром потерял предшествовавшие годы? ²⁶

Лотофаги — мифический народ, питавшийся цветками лотоса.

90. Ниже приводятся пять глав трактата Плутарха «О питании мясом».
91. *Пифагор* (ок. 580—500 до н. э.) — древнегреческий математик и философ-идеалист.
92. *Геродот*. История, кн. 1, § 94.
93. *Лидийцы* — жители западной части Малой Азии в древности.
94. Имеется в виду *Генри Корнбери*, затем барон *Гайд* (1710—1753) — английский политический деятель, путешественник, писатель. Известен как автор комедии и ряда анонимных сочинений. Гайд является прототипом друга Сен-Пре в романе Руссо «Юлия, или Новая Элоиза».
95. Речь идет о маршале де Бель-Иле.
96. Имеется в виду *Александр Македонский*, воспитателем которого был *Аристотель*. Руссо упоминает рассказанный *Плутархом* эпизод об укрощении юным *Александром* коня *Буцефала* (см.: *Плутарх*. Сравнительные жизнеописания: Александр, 9).

К н и г а III

В этой книге Руссо описывает воспитание своего героя «в третьем состоянии детства», т. е. от 12 до 15 лет. Руссо называет это время «возрастом формирования интеллекта».

1. Армилярная сфера — средневековый астрономический прибор.
2. Колурии — два круга в армилярной сфере, разделяющие экватор и зодиак на четыре равные части.
3. Руссо цитирует неточно. Приводим текст *Формея*: «...Против ребенка, которому делают горькие упреки... и читают наставления» (*Formey. Anti — Emile. Berlin, 1763, p. 104*).
4. Руссо имеет в виду, что *Эмиль*, благодаря фокуснику, обучается сократическим методом. Древнегреческий философ *Сократ* (468—400 или 399 до н. э.) применял со своими учениками метод бесед, ставя перед ними разнообразные вопросы.
5. *Буало-Депрео Никола* (1636—1711) — французский поэт и критик, автор «Сатир», «Посланий», «Поэтического искусства» и др.
6. *Расин Жан* (1639—1699) — французский поэт и драматург, крупнейший представитель литературного классицизма.
7. В *Монморанси*, неподалеку от Парижа, Руссо писал «Эмиля».
8. Бог древних греков *Гермес* отождествлен здесь с богом древних египтян *Тотом*, которому приписывалось

- основание наук и искусств. Изображение Гермеса, вырезающего на колонне знаки, помещено в амстердамском издании «Эмиля» 1762 г.
9. Плиний Секунд Старший (23—79) — древнеримский писатель, автор «Естественной истории» в 37 книгах.
 10. Герой произведения английского писателя Даниеля Дефо Робинзон Крузо, попавший на необитаемый остров и сумевший обеспечить собственное существование, был для Руссо образцом человеческой самостоятельности, а его образ жизни — показателем целесообразности. Руссо не раз в своих произведениях обращался к роману Дефо. Так, в «Юлии, или Новой Элоизе» один из героев проводит некоторое время на необитаемом острове.
 11. «Только таких богатств хочу, которым позавидует народ» (*лат.*) (*Петроний Гай*. Сатирикон, гл. 100). Римский писатель Гай Петроний (I в.) в «Сатириконе» высмеивал быт и нравы римлян.
 12. Имеется в виду «Рассуждение о неравенстве» (1754).
 13. Речь идет об аббате Гюйю-Дефонте и графе д'Аржансоне, друге энциклопедистов.
 14. *Дионисий Младший* (IV в. до н. э.) — тиран Сиракуз, взят был в плен и жил в большой нужде в Коринфе.
 15. Имеется в виду Александр, сын последнего царя Македонии Персея (II в. до н. э.). Александр в 168 г. до н. э. был пленен римлянами и определен на службу писцом к Альбе.
 16. *Тарквиний Гордый* (ум. 494 до н. э.) — последний царь Древнего Рима. За жестокость был изгнан из Рима.
 17. Имеется в виду Карл-Эдуард Стюарт (Претендент) (1720—1788), который пытался силой захватить английский престол, но был разбит в 1746 г. в битве при Куллодене.
 18. Речь идет об аббате Сен-Пьере.
 19. «Борются редкие, редкие кормятся пищей атлетов; Вы же прядете шерсть и мотками в корзины кладете...» (*лат.*).
 20. Бог Вакх дал легендарному фригийскому царю Мидасу способность превращать в золото все, к чему тот прикасался. Бог Аполлон наградил Мидаса ослиными ушами (см.: *Овидий*. Метаморфозы, XI, 85).
 21. Гильом — действующее лицо из фарса аббата Д.-А. Брюе (1640—1723) «Адвокат Патлен» (1706). Имеется в виду диалог Патлена и Гильома. Патлен спрашивает, придумал ли Гильом краску, а тот отвечает, что сделал это вместе с красильщиком.
 22. Гуроны — племя североамериканских индейцев.
 23. «Я не знаю» — девиз французского писателя эпохи Возрождения Пьера Шаррона (1541—1603), трактат которого «О мудрости» Руссо хорошо знал.
 24. Диптрика — наука о преломлении световых лучей.
 25. См.: *Монтень*. Опыты, II, 27.

26. Вольтер на полях «Эмиля» оставил пометку против этой фразы: «Разумеется, ведь это будет увалень, ничего не ведающий о своем окружении» (см.: *Державин К. Вольтер — читатель «Эмиля» Руссо.* — Известия АН СССР. Отделение общественных наук, 1932, № 4, с. 334).

К н и г а IV

Четвертая книга посвящена воспитанию Эмиля после достижения им 15 лет. Именно с этого возраста, считает Руссо, следует начинать основное в воспитании — учить любить людей.

Четвертая книга «Эмиля» особенно дорога была автору. Когда парламент Парижа решил сжечь издание «Эмиля», Руссо хотел спасти от огня прежде всего эту книгу романа.

1. Бог ветров Эол дал Одиссею (Уллису) мех с заключенными в нем ветрами. Когда во время плавания Одиссей заснул, его спутники развязали мех и выпустили ветры. Поднявшаяся буря унесла корабль Одиссея от родных берегов (см.: *Гомер. Одиссея*, X, 475 и дал.).
2. Перефразированное выражение древнеримского поэта Теренция (194—159 до н. э.): «Я человек, ничто человеческое мне не чуждо» (*Теренций. Самоистязатель*, I, I, 25).
3. Валэс — кантон в Швейцарии.
4. В оригинале: «Одежда из бархата, а в желудке отруби».
5. Цицерон в книге «О природе богов» (I, 44) говорит: «В нашей немощи лежит вся наша склонность и любовь».
6. «Хорошо знакомая с бедой, учусь я в бедах помогать» (*лат.*) (*Вергилий. Энеида*, I, 630).
7. Имеются в виду арабские сказки «Тысяча и одна ночь», французский перевод которых был опубликован в 1704—1717 гг.
8. Руссо намеревался писать продолжение «Эмиля», где герой попадал невольником на галеры в Алжир.
9. *Эпиктет* (ок. 50—138) — греческий философ, рабом привезен был в Рим, затем стал вольноотпущенником.
10. Гревская площадь в Париже была местом публичных казней.
11. Упомянуты романы французского писателя Ла Кальпренеда (1610—1663). Романы отличали вычурность и запутанная интрига.
12. *Генрико Катарино (Давила)* (1576—1631) — итальянский писатель, автор «Истории гражданской войны во Франции».
13. *Гвиччардини Франческо* (1482—1540) — итальянский писатель, автор «Истории войн в Италии», французский перевод которой был опубликован в 1738 г.